

# ИГОРЬ ЧИННОВ



Игорь Чиннов

# Книги Игоря Чиннова:

## МОНОЛОГ

Париж: Рифма, 1950.

## ЛИНИИ

Париж: Рифма, 1960.

## МЕТАФОРЫ

Нью-Йорк: Изд. «Нового журнала», 1968.

## ПАРТИТУРА

Нью-Йорк: Изд. «Нового журнала», 1970.

## КОМПОЗИЦИЯ

Париж: Рифма, 1972.

## ПАСТОРАЛИ

Париж: Рифма, 1976.

## АНТИТЕЗА

Birchbark Press, 1979.

## АВТОГРАФ

New England  
Publishing Co., 1984.

## ЭМПИРЕИ

Москва: Христианское  
издательство, 1994.

## АЛХИМИЯ И АХИНЕЯ

Москва: Христианское  
издательство, 1996.

## ЗАГАДКИ БЫТИЯ

Москва: Христианское  
издательство, 1998.

Игорь Чиннов

ИГОРЬ ЧИННОВ

# ИГОРЬ ЧИННОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ДВУХ ТОМАХ



МОСКВА «СОГЛАСИЕ» 2000

ИГОРЬ ЧИННОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ДВУХ ТОМАХ

---

ТОМ ПЕРВЫЙ

---

*Стихотворения*

---

МОСКВА «СОГЛАСИЕ» 2000

УДК 882  
ББК 84(2Рос-Рус)6  
Ч 63

Руководитель программы «Согласие»  
В.В.Михальский

Составление, подготовка текста,  
вступительная статья, комментарии  
О.Ф.Кузнецовой

Редактор  
Н.Л.Панкратова

Художник  
Н.М.Козлов

*Фото на суперобложке и фронтисписе:  
Игорь Чиннов (Рига, 1943 г.)*

ISBN 5-86884-102-6 (Т.1)  
ISBN 5-86884-101-8

© О.Ф.Кузнецова. Составление, подготовка текста,  
вступительная статья, комментарии, 2000.  
© Н.М.Козлов. Художественное оформление, 2000.  
© «Согласие», 2000.

# «ПОСЛЕДНИЙ ПАРИЖСКИЙ ПОЭТ»

## 1

Весной 1996 года во Флориде умер один из самых крупных русских поэтов — Игорь Чиннов. Вся его жизнь прошла в эмиграции. Были Франция, Германия, США. Уже первая книга стихов, вышедшая в Париже в 1950 году, принесла Игорю Чиннову известность в литературных кругах русского зарубежья. Иван Бунин, даря Чиннову свою книгу стихов, надписал ее: «Молодому стихотворцу от старого». А на творческом вечере И.Чиннова, проходившем в Нью-Йорке, вместо самого Чиннова, жившего тогда в Париже, стихи его вызвался читать большой поклонник молодого «парижского поэта» философ Георгий Федотов. В письме к Чиннову Георгий Иванов, которому принадлежало тогда «кресло первого поэта эмиграции», позже унаследованное Чинновым, писал: «Поздравляю Вас с очень большой удачей. Ваши стихи, собранные вместе, чрезвычайно выиграли. А Вы сами знаете, как это важно. Обычно получается наоборот. Считаю, что Ваш сборник дает Вам большие “права”. <...> Теперь Вы автор книги такого “класса”, какие появляются — и не только в эмиграции — очень нечасто. И которой одной достаточно, чтобы Ваше имя “осталось”. <...> Очень рад за Вас. И очень советую побольше писать — “по горячему следу” Вашей несомненной и большой удачи. Ваш всегда Георгий Иванов»\*.

\* Согласно завещанию Игоря Владимировича Чиннова, его архив и библиотека были переданы в Институт мировой литературы им. А.М.Горького Российской Академии наук (ИМЛИ РАН).

ИМЛИ РАН. Отдел рукописей. Ф. 614, архив И.В.Чиннова.



Чиннов последовал совету. За тридцать лет в Европе и Америке он выпустил еще семь книг стихотворений. Ответом на них было более семидесяти хвалебных статей и рецензий, не считая прочих отзывов в прессе, — по сути, ни одно из его стихотворений не оставалось без отклика. О Чиннове писали в выходивших на Западе словарях, его печатали в антологиях, переводили на разные языки. Десятки американских университетов приглашали его выступать с лекциями и стихами, чтобы студенты могли посмотреть на русскую знаменитость. Например, в 1979 году в Мэрилендском университете проходил Международный симпозиум по художественному переводу. Русской поэзии были посвящены два вечера, которые, как писала газета «Новое русское слово», «правильнее назвать творческими вечерами двух выдающихся поэтов русского зарубежья — Иосифа Бродского и Игоря Чиннова»\*. Оба поэта, как бы соревнуясь, по очереди читали свои стихи.

В СССР о Чиннове не знали.

Правда, несколько десятков экземпляров его восьмой книги — «Автограф» — в 1984 году все же попали в самиздат («В Россию — ветром — строчки занесет...»). Но это и все.

Только в 1989 году, когда Игорю Владимировичу было уже восемьдесят лет и он, заслуженный американский профессор в отставке, жил себе во Флориде — «Мы давно отдыхаем на чужих берегах...», — журнал «Даугава» поместил подборку его стихов. В том же 1989-м, а потом в 1991-м году его стихи появились в «Новом мире», «Огоньке», «Литгазете».

Чиннов называл себя тогда «последним парижским поэтом».

Я жил в Париже целых восемь лет.  
Уехал тридцать лет тому назад.  
Там жили русские поэты. Больше нет  
В живых почти ни одного. Конь Блед  
Умчал их в тот, небесный вертоград...

\* Новое русское слово. 1979. 25 марта.

Почти никому из «русских парижан» не довелось увидеть свои стихи напечатанными в России. Так что можно сказать, что Чиннову еще повезло. Сбылось его собственное пророчество: «...Стихи — дойдут. Стихи — дойдут». И более того — сам он, на восемьдесят третьем году жизни, добрался-таки до России и читал стихи в Доме литераторов, в Доме журналистов. И потом написал:

За долголетие скажи спасибо:  
Не много однолеток уцелело  
Твоих — друзей или врагов, — не много...

Стихотворение осталось незаконченным.

Воспоминаний Игорь Владимирович не оставил, хотя не раз за них брался. Сохранилось несколько отрывков. (Они напечатаны во втором томе этого собрания сочинений.) А вспомнить было что. Его жизнь вместила весь Советский период русской истории.

В революцию ему было восемь лет, и их семья, спасаясь от большевиков («Я каждый день боялся, что отца расстреляют»), бежала с Белой армией на юг России. В Ставрополе и родители, и он сам переболели тифом. Потом, в 1922 году, был долгий путь в товарных вагонах, в теплушках через всю Россию обратно, на запад, в Ригу, тогда несоветскую, где удалось получить гражданство. Отцовские двоюродные братья (фон Морр, директора страхового общества «Саламандра») приютили родню в подвале своего особняка. Отец — юрист, присяжный поверенный — пытался устроиться на службу. Но русских брали в последнюю очередь. Мать — родовитая дворянка, из Корвин-Косаговских — продавала цветы на рынке, чтобы хоть как-то заработать, и все плакала. «Я на всю жизнь возненавидел рододендроны. Они росли у дяди в саду. Там по вечерам устраивали балы, прохаживались роскошные гости, а я смотрел на них из окна подвала и еле сдерживал слезы от унижения за моих родителей: их не приглашали».

В Риге юный Чиннов продолжил свое образование, поступив в Ломоносовскую гимназию. А начало образования —

первый класс — и самые яркие детские воспоминания связаны с Рязанью, где они жили несколько лет. Там же Ирик, как его звали дома, наблюдал революцию: «Толпы ходили по городу с красными бантами и пели: “Вышли мы все из народа...” Но радости ни у кого не было».

После гимназии, продолжая семейную традицию, Чиннов поступил (в 1931 году) на юридический факультет Рижского университета. И едва успев отслужить после окончания учебы год в латвийской армии (где его сначала приставили чистить злющего коня командира, а потом, за особую склонность к чтению, направили учиться на фельдшера) — он вынужден был опять сменить гражданство: буржуазная Латвия стала Советской. Начался «страшный 40-ой год» борьбы с «антисоветскими элементами». «Через громкоговорители нам объявили, что старое правительство ушло в отставку, в магазинах все исчезло, интеллигенцию вывезли». Культурная связь с миром прервалась, хотя «литературной трибуны» Чиннов лишился еще в 1934 году, когда закрылся выходящий в Париже эмигрантский журнал «Числа», очень престижный, куда, по рекомендации Георгия Иванова, Чиннов посылал свои первые литературные «опыты».

О знакомстве с Георгием Ивановым надо сказать особо как о событии, определившем, кажется, всю дальнейшую жизнь Чиннова. В студенческие годы Игорь Чиннов был членом содружества молодых литераторов «На струге слов» («Остряки, конечно, говорили — “ослов”»). Они выпускали в Риге журналчик «Мансарда», где как-то напечатался и Чиннов. И как раз тогда, в начале 30-х годов, в Ригу приехали Георгий Иванов и Ирина Одоевцева. У нее в Риге жил отец — богатый преуспевающий адвокат. Молодые литераторы решили организовать Георгию Иванову «торжественный прием». В квартире Чиннова — как самой приличной. Тем более что он там обитал один — родители жили под Ригой, где отец все же устроился на службу в суде. И вот, сидя в квартире Чиннова, за его столом, Иванов листал «Мансарду» и наткнулся на чинновскую статью: «Это каша. Но это творческая каша. Пусть он ко мне зайдет».

Самого Чиннова в день «торжественного приема» в Риге по каким-то обстоятельствам не было. Но фразу эту ему передали, и он зашел.

«Георгий Иванов предложил устроить мои стихи в “Современных записках”. Но я отказался, потому что думал, что потом мне будет за них стыдно». Зато, благодаря Иванову, Чиннов начал печататься в «Числах». Ему было 22 года. Это стало началом его «творческой карьеры». И когда после окончания войны Чиннов оказался в Париже, он уже был признанным поэтом. И «Рифма» выпустила его первый стихотворный сборник.

Советская власть, утвердившаяся в Латвии в 1940 году, продержалась там недолго. В 1941 году в Ригу вошли немцы.

«Немцы вывезли евреев и заняли их квартиры. Потом стали увозить на работу в Германию всех, кто помоложе. Сначала население радовалось, что немцы придут и прекратится советский террор, но скоро радость прошла».

В 1944 году Чиннова в числе других тоже угнали на работу в Германию. В лагерь в Рейнской области. «Мы там работали на каком-то тракторном заводе. По сути — саботировали. Перекладывали детали с одной полки на другую. Однажды все немцы в лагере исчезли. Никого. И смотрим — в ворота въезжает грузовик. А в нем — американские солдаты. Негры. Говорят по-английски. Но мы поняли, что война кончилась, и они приехали нас освобождать. В последний день открытой границы нас перевезли во Францию. И я оказался в Париже. Слава тебе господи. Всю жизнь мечтал».

Но тут «латвийский солдат И.В.Чиннов» опять был призван в армию. На сей раз — американскую. В обязанности его входило сторожить своих бывших охранников — немцев (ставших теперь военнопленными), размещенных в казармах маленьких городков под Парижем. Вот такие превратности судьбы.

«Однажды мы оказались недалеко от Реймса, и я уговорил одного негра меня туда отвезти, потому что боялся, что нас скоро куда-нибудь переведут и я не увижу Реймского собора. Но мы там потом еще долго были, и я много раз его видел».

Наконец в 1946 году теперь уже «американский солдат И.В.Чиннов» был демобилизован и предоставлен самому себе.

«В Париже первым делом я пошел в русский книжный магазин. Смотрю книги поэтов. Продавец говорит:

— Вы, кажется, разбираетесь в поэзии.

— Да, а почему бы мне не разбираться. Я сам пишу стихи.

— А как ваша фамилия?

Я назвал. Он сделал вид, что чего-то вспоминает. Ничего, конечно, не вспомнил. Но сказал, что скоро будет вечер русских поэтов и что я могу туда пойти».

Так для Чиннова началась жизнь в Париже. Без денег, в крошечной комнатке на пятом этаже, без лифта, без света, без отопления. «Барская квартира: одна комната — три сортира», — шутил Ремизов. Заработки случайные. Например, преподавание немецкого в Русской гимназии; чтение публичных лекций по русской литературе; преподавание в летней школе Русского студенческого христианского движения. Но зато среди знакомых, друзей, собеседников скоро оказался весь цвет русского литературного Парижа. Постепенно пришло и литературное признание. Но, как и всех эмигрантов, Чиннова не покидала мечта о признании в России, русским читателем. Это одна из постоянных тем и в разговорах, и в письмах. Хотя никогда Чиннов не разделял послевоенных пробольшевистских настроений большей части русской эмиграции, готовой все простить советскому правительству за победу над Гитлером. Страх перед большевиками остался у Чиннова на всю жизнь.

В 1953 году, когда в Мюнхене открылась радиостанция «Свобода» (тогда называвшаяся «Освобождение»), Чиннову предложили там работать. Предложил его друг — Владимир Вейдле, ставший директором радиостанции. И Чиннов, так и не нашедший способа зарабатывать в Париже, согласился.

А в 1962 году Канзасский университет в Америке пригласил его на должность профессора русского языка и литературы.

В Америке Чиннов прожил до самой смерти.

\*\*\*

С Игорем Владимировичем Чинновым я познакомилась в 1991 году, когда он и еще несколько сотрудников «Нового журнала» приехали из Америки в Москву на торжества, устроен-

ные Фондом культуры по случаю пятидесятилетия этого старейшего эмигрантского издания. Один из вечеров проходил в Центральном доме литераторов. И я туда отправилась с намерением взять интервью у главного редактора журнала Ю.Д.Кашкарова или у кого-то из «старых» эмигрантов. «Новый журнал» по традиции всегда считался изданием эмиграции «первой волны». О Чиннове я тогда не знала ничего, кроме как-то затесавшейся в мое сознание строчки «Лошади впадают в Каспийское море...».

На сцене собрались рафинированные русские интеллигенты, что-то неуловимое отличало их речь от нашей — может быть, более четкий выговор и приятная плавность и замедленность речи. Мое внимание на сцене привлек добродушно-го вида холеный господин, который как-то очень уютно расположился в своем кресле и то и дело приветливо улыбался и раскланивался со своими коллегами за соседним столиком. Я подумала — настоящий русский барин. Он хорошо бы смотрелся в плетеном кресле, на солнечной террасе собственного дома в каком-нибудь подмосковном имении с заливными лугами и роскошными собаками.

— Игорь Владимирович Чиннов, — представил его Кашкаров. — Член редколлегии нашего журнала. Несмотря на преклонный возраст, он все еще балует нас своими стихами.

Зал тоже изъявил желание быть побалованным. И Игорь Владимирович прочел несколько стихотворений. Потом еще несколько. Те, кто по программе вечера должны были выступать следом, предложили отдать свое время — только бы Чиннов мог читать еще. И он читал, раскрывая то один «Новый журнал», то другой. Прозаически, с профессорской дикцией, медленно выговаривая строки, четко произнося окончания. А буквы и слова складывались в музыку. Позже, прочтя кучу статей в эмигрантской печати о Чиннове, я убедилась, что волшебная музыка его стихов завораживала всех. Ученые-лингвисты, разбирая строку за строкой, пытались объяснить, какими приемами поэт пользовался (неполные рифмы, диссонансы и пр.) или не пользовался (ни одной инверсии родительного падежа). Но залу совсем не хотелось думать о падежах. Мы были во власти поэзии.

Почти сорок лет назад Юрий Иваск, поэт, ставший самым близким другом Чиннова, тоже попал под очарование чинновских строк и написал в письме: «Сколько труда, мужества, воли, одиночества за Вашей поэзией. Чего это стоило! — монашеских подвигов»\*.

Примерно эти слова я готова была сказать Игорю Владимировичу, когда пару дней спустя явилась за интервью. (Хотя письма этого, конечно, еще не читала.)

От «русского барина», которого я видела на сцене, не осталось и следа. Перед «советским журналистом» поэт предстал в образе изгнанного из отчего дома «бедного родственника», «забавного старикашки». Такой имидж был в свое время у Ремизова, когда он жил в Париже, а Чиннов — молодой, подающий надежды поэт или, как его называл Ремизов, «мой предстатель и защитник на тараканьем суде самоуверенных рабов» — заходил к писателю в гости.

«Бедный родственник», как ему и полагалось, ютился в прихожей, в старом кресле, одетый в пальто и сверху накрытый одеялом. В руке — какие-то таблеточки. С добрейшей улыбкой мне указали на стоявший тут же стул. Я была в замешательстве. Но совсем не потому, что не могла найти подходящих слов для выражения своего восторга, просто я никак не могла решить — мне-то в этой ситуации пальто снимать или тоже так прямо и оставаться? Мизансцену дополняли проходившие время от времени мимо улыбающиеся хозяева квартиры и обожающая нас овчарка, которая выражала свою преданность тем, что угрожающе облаивала входную дверь каждый раз, когда ей казалось, что кто-то шел по лестнице. И тогда поэт, притворно сердясь, кричал весело и задорно: «Дура, идиотка, молчи!» То ли воображение у собаки разыгралось, и ей беспрестанно мерещились домушники, то ли они с поэтом сговорились повеселиться на пару, но в результате на пленке у меня оказалось интервью с этой самой собакой.

\* ИМЛИ РАН. Отдел рукописей. Ф. 614, архив И.В.Чиннова.

Письмо от 24 марта 1952 г.

Спектакль был прерван неожиданным приходом друзей Чиннова из Латвии, с которыми он заговорил было по-немецки, но, увидев их растерянность, со смехом извинился и перешел на латышский. Я откланялась.

Когда мы встретились с Игорем Владимировичем еще раз, чтобы закончить беседу, не было уже ни «барина», ни «старикашки». Серьезен, мил, любезен. Держался по-дружески просто, как будто мы знакомы сто лет. Но без панибратства. Когда я сказала, что не смогу быть на его выступлении в Доме журналистов, мне даже показалось, что он и правда расстроился. Хотя я где-то читала, что именно такая «дружеская» манера общения была характерна для аристократии и вырабатывалась она всего лишь воспитанием.

Времени для других встреч и бесед уже не было — все «три» знакомых мне Чиннова уехали в Петербург, а потом и восвояси — во Флориду.

Я готовила к публикации интервью, проверяла фактуру, расспрашивала о Чиннове и от одного эмигранта, который был с ним знаком, услышала: сноб, эстет и вообще слишком элитарен. Образ обрстал все новыми характеристиками.

Сноб? А почему бы и нет. Тем более что иногда иначе и не получается, как, например, у Владимира Набокова, который, по воспоминаниям Иваска, слушавшего его лекции в Гарварде, «снобировал» американскую публику прекрасным «королевским» английским.

Оказывается, уже в гимназии Чиннов производил впечатление зазнайки. Одноклассница писала ему потом, лет тридцать спустя: «В школе я Вас не очень-то любила. Уж слишком ваш русский язык был изыскан, уж слишком Вы пунцово краснели и слишком пронзительно глядели, словно сквозь человека и сквозь десять стен. Я думала — ах, этот мальчишка, этот Чиннов, выкинет когда-нибудь что-нибудь своенравное»\*.

Время, как я выяснила, не так уж и меняет людей.

\* ИМЛИ РАН. Отдел рукописей. Ф. 614, архив И.В.Чиннова.

Письмо от 22 июля 1957 г. Подпись: *Медя*.



Элитарен? Конечно. Известно ведь, что в эмигрантской поэзии Игорь Чиннов и Иван Елагин — антиподы. Первый всегда больше нравился «избранным», второй — широкой публике. Элитарность Чиннова сложилась, так сказать, «объективно», без всяких усилий с его стороны. Как-то само собой получилось, что, оказавшись в послевоенном Париже, Чиннов вошел в довольно тесный круг литературной элиты, состоявшей из наиболее образованных и талантливых эмигрантов «первой волны», хотя и был моложе их. А после смерти Георгия Иванова многие в этом кругу признавали, что опустевшее кресло первого поэта русской эмиграции теперь принадлежит Игорю Чиннову. «Игрушка — мэтр в поэзии», — писал Георгий Адамович Александру Гингеру.

Прозвище «Игрушка» (музы, что подразумевалось, но, конечно, опускалось) возникло и как производное от имени Игорь, и еще потому, что — молод, весел, остроумен. Так звали его старые друзья. Позже, оказавшись во Флориде, я, кажется, была «свидетелем» смерти последнего из тех, кто так его называл, Анатолия Реннинга, прибалта, поселившегося в Швеции. У Чиннова сохранилась большущая стопка писем от Реннинга. При мне очередное отправленное ему письмо вернулось нераспечатанным — адресат не найден...

Наконец интервью вышло. Там же, в «Огоньке», появилась и подборка стихов Чиннова. Звоню Игорю Владимировичу, чтобы сообщить, а заодно и поздравить с Новым годом. И опять, в который раз, он меня ставит в тупик. Вместо ожидаемых ничего не значащих слов вежливой благодарности слышу: «Спасибо, душенька, но все поздно. Мне даже некому показать эту публикацию, чтобы за меня порадовались. Все умерли». Я не нашлась с ответом. Да и что тут скажешь? А разговор шел своим чередом. Игорь Владимирович уже рассказывал, что только-только вернулся из Сан-Франциско с конференции славистов, был там в музеях и на выставке русских театральных художников и пришлет мне буклет. Что у него из номера в гостинице украли деньги. И что вообще с путешествиями пора кончать — не по возрасту. Все же скоро 83 года. Если только в Россию съездил бы еще разок. Летом. Да уж куда там.

Каково же было мое удивление, когда эта идея постепенно начала реализовываться. В окончательном варианте она выглядела так: мы снимаем под Москвой дачу на три семьи. Одна семья — это он, а две другие — это Екатерина Федоровна Филипс-Юзвиг, профессор из Милуоки (хороший друг Чиннова, она приедет позже) и я с дочкой Дашкой, восьми лет от роду. («Даша» — это скучно, — говорил И.В. — Вот «Дашка» — хорошо».)

Стихотворение «Милая девочка мне...» — как раз о Дашке. Они с папой тогда приехали из Крыма, и Дашка подарила И.В. свои сокровища — горочку обтесанных морем бутылочных стекол. Кстати, наш афган, деливший с нами дачный кров, тоже попал в стихотворение, но уже другое: «А надо бы сказать спасибо...» — как, впрочем, и вся дача, с ее маленькими радостями, покоем, теплом и даже котенком с белыми лапками, сданным нам вместе с дачей. Котенок оказался слепым. У И.В. он вызывал теплые чувства, и, глядя это шелудивое создание, он презабавно сюсюкал, объясняя, что очень любит кошек (это и так было видно), но в кондоминиуме, где он живет, животных заводить запрещается.

С самого начала идея с дачей показалась мне немножко авантюрной: из Дейтона-Бич, одного из лучших флоридских курортов, где у него квартира в трех минутах ходьбы от Атлантического океана, — тащиться в Подмоскovie. Да еще в такие годы. Потому, когда в день отлета И.В. позвонил и сообщил, что вылететь не может — заболел, — я была к этому почти готова. Голос — совершенно больной. Но при этом он уверял, что завтра поправится и прилетит. Уже поменял билет. Звучало все это не очень убедительно.

«Завтра» в аэропорту мы с водителем из Института мировой литературы ждали до последнего. И.В. не появился. И мы уже собрались уезжать, когда громкоговоритель возвестил, что нас ждут в комнате медперсонала. И.В. явно переоценил свои силы. Он лежал на кожаном диванчике и почти спал: «В самолете я никогда не могу уснуть, и выпил снотворное. Не подействовало. А сейчас, кажется, действует...» До дачи мы все-таки добрались. Хотя я все время малодушно спрашивала себя —

может быть, разумнее ехать в больницу? Но понадеялась на чудодейственную силу русской природы. И не напрасно. На следующий день И.В. как ни в чем не бывало расхаживал по даче, то и дело появляясь около холодильника, где целую полку занимал огромный пирог с капустой — плод нашего с соседями совместного творчества, вместо «хлеба-соли». «Последний раз я ел настоящие пироги с капустой в Германии (далее следовал адрес этого незабвенного места) в шестьдесят первом году». Я с радостью отметила про себя, что удача И.В. не оставила (он считал себя везучим), — наши дачные соседи Панины славились своими пирогами на весь поселок, и мы были уже приглашены к ним под дуб на чай. И началась неспешная, заполненная разными приятными мелочами дачная жизнь.

Какая болезнь с И.В. приключилась, он рассказал уже много позже. Оказывается, именно в день отъезда он узнал о смерти близкого человека. И силы в прямом смысле слова оставили его. «Она была моей невенчанной женой. Мы, конечно, давно расстались. И вот умерла. Боже мой». Тем, кому приходилось общаться с людьми довоенного поколения, знакомо изумление перед неисчерпаемостью их жизненных сил. Кажется, что природа этих сил нематериальна и держатся они исключительно силой духа. Наверно, так оно и есть.

Соседи действовали в лучших традициях русского гостеприимства — гостей из Америки не забывали. То куда-то нас возили, то к кому-то приглашали. Левины, например, не раз возили нас в Москву, показать гостям столичные достопримечательности. К сожалению, не все из задуманного удалось увидеть. Так, посещение Пушкинского музея (Изобразительных искусств) пришлось заменить фотографированием во дворике на фоне елей: преодолеть знаменитую мраморную лестницу И.В. не смог бы — он тогда уже с трудом ходил. А преодоление ступеней Благовещенского собора еще в его первый приезд в Москву вспоминал как подвиг одного своего московского друга, который его туда «затащил». Сам И.В. не был сторонником «подвигов». Наоборот, говорил, что он лентяй, никаких физических нагрузок не любит. И в какой-то медицинской анкете, где спрашивалось: «Какие физические упражнения вы делаете

самостоятельно?» — написал: «Сам беру с полки книгу. Сам переворачиваю страницы». Хотя, на мой взгляд, все его русское путешествие было сплошным подвигом. Каждый раз, когда я видела, каких усилий ему стоило взобраться по ступенькам в очередную церквушку, я мысленно снимала шляпу.

Интерес к России (а точнее, наверно, к миру вообще — ведь за свою жизнь И.В. туристом объехал половину земного шара) явно вступал в непримиримое противоречие с «врожденной ленью», о которой так любил говорить И.В. Кстати, по поводу этой лени — для меня вопрос до сих пор остается открытым. Мне, конечно, приходилось верить И.В. на слово, но то, что я наблюдала, на лень было не очень похоже. Да, И.В. принципиально и последовательно не хотел совершать никаких усилий, которых можно было не совершать. Всякие гимнастические упражнения, диеты были для него совершенно неприемлемы. Более того, он говорил, что не понимает людей, которые ради написания романа готовы провести за столом не один месяц. Он даже статьи писать «ленился». И удивлялся, откуда у Бахраха такое странное представление о том, как он пишет стихи. Бахрах в одной рецензии написал, что по утрам Чиннов будто бы садится за стол работать — писать стихи. «Ни разу я для этого за стол не садился, — И.В. в изумлении пожимал плечами. — Стихи приходят сами. А я их записываю. Где придется».

Но если уж И.В. начинал «работать», то он-таки работал. Так он составлял свою книгу, материалы для которой привез на дачу. У него возникла идея — выпустить свои гротески отдельной книгой. Проблема была в том, чтобы из всех прежних книг эти гротески выудить и расположить подходящими парами на разворотах. И.В. занимался этим все свободное время. И если бывало, что утром просыпал до девяти (а что, казалось бы, еще делать на даче, если не поспать с удовольствием?), то квалифицировал такое поведение как «хулиганство». Книгу он составил довольно быстро, но те, кто потом в России занимались ее изданием, делали это слишком медленно, и книга гротесков «Алхимия и ахинея» вышла уже после его смерти и тиражом всего 500 экземпляров.

Или в декабре девяносто пятого года, за пять месяцев до смерти — тогда он уже почти не вставал с постели, — с какой неотвратимой энергией он взялся спасать (и весьма успеш-но!) свой любимый «Новый журнал», оказавшийся под угро-зой закрытия. Он позвонил мне в Москву, и велел действо-вать, и сказал как. Позвонил и написал еще многим людям. Даже умирая, он нашел в себе силы бороться за этот островок старой русской культуры — ведь традиции издания поддер-живались долгие годы, и сам он не раз помогал вычитывать для журнала французский и немецкий тексты, оберегая жур-нал от культурной деградации.

Никогда в жизни я не слышала, чтобы И.В. говорил с па-фосом, что называется, «красиво». А если слышал что-то в этом духе, морщился и напоминал: «Аркадий, не говори кра-сиво!» Но тут мне придется запрет нарушить и сказать имен-но с пафосом — главным для этого ироничного человека было сохранение и развитие русской культуры. В его представ-лении понятие любви к родине, к России, понятие патриотизма не двоилось, как у нас, советских. Сюда не примешивалось что-то смешное, стыдное, демагогическое, повязанное неле-пым красным галстуком. Гордость за свою страну, свой народ была просто органичной частью его личности. Может быть, гордость — не совсем подходящее слово. Скорее, спокойная уверенность, что его родина — если не лучшее, то уж точно од-но из лучших и достойных уважения государств на земле. Большевиков он считал убийцами и захватчиками, от кото-рых в конце концов Россия освободится. Хотя, по большому счету, совершенно не понимал, что у нас тут происходит. И это при том, что неотступно всю жизнь за этим следил. Каково же настоящим иностранцам!

Любопытно было наблюдать, как у наших гостей в лексико-не постепенно появлялись чисто советские словечки: «доставть» сосиски, например. Поскольку за едой в Загорск, ближайший к нам город, мы ездили всей коммуной, то и радость от обладания этими самыми сосисками была у нас общей и совершенно со-ветской. Вкусовые качества продукта затенялись сознанием собственной удачливости — «отхватили», да еще без очереди.

Только позже я узнала, что господин Чиннов славился в кругу своих друзей как большой гурман и чревоугодник и что, посмеиваясь над его мечтами о пирогах или борще, я смеялась над святым. Совсем не случайно в его стихах столько еды (что для русской поэзии вовсе не характерно). Эта сторона жизни доставляла ему ничуть не меньшую радость, чем, скажем, созерцание рукотворных и нерукотворных земных красот. К сожалению, ни на какие кулинарные изыски никто из нас не был способен. А сам И.В., всю жизнь питаюсь в ресторанах, по-моему, даже не знал разницы между сковородой и кастрюлей. Впрочем, как-то Екатерине Федоровне потрясающе удался украинский борщ. А это, как нам тут же объяснили, во Флориде такой же дефицитный продукт, как квашеная капуста или тихоокеанская селедка в бочках. Так что все же И.В. было потом что вспомнить, кроме, например, Переяславля Залесского или Ростова Великого, куда возил нас старший Панин.

В Ростове около какой-то церкви И.В. подобрал на память обломок штукатурки и вспомнил, как в свое время около константинопольской Святой Софии нашел черный камушек сердечком. Меня удивляло, с какой естественной простотой И.В. крестился, входя в храм. Неспешный, с детства привычный жест. Какой-то очень бытовой. Насмешник, скептик — и вдруг! Откуда? Да вот как раз оттуда, из детства. Другая культура. Человек, воспитанный в иной стране, чем я, с иными ценностями, иными традициями. И когда я об это вдруг спотыкалась, для меня это было всегда неожиданно, ведь И.В. держался совершенно просто и ничего не стоило забыть и о его возрасте, вдвое превышающем мой, и о невероятных, с моей точки зрения, объемах всякого рода информации, которой он владел совершенно свободно до последних дней. Не думаю, что еще когда-нибудь мне встретится человек, который знал стольких незаурядных людей. И который имел бы такое всестороннее образование — успев за свою жизнь прочесть в подлинниках все, что следовало прочесть на французском, немецком и английском. О русском и говорить нечего. И который не просто знал лучших художников человечества, но и видел их работы «живьем». И который вообще столько бы

видел городов, музеев, замков, соборов и дворцов во всех концах земли. (Некоторые попали в его стихи.) Мечтал побывать в Индии. Не успел. Ему не хватило жизни, чтобы насытиться земными чудесами и красотой. С каким завидным удовольствием жил человек! И это вошло в его стихи. Для меня, например, такое отношение к жизни было откровением.

Я как-то спросила, как ему работалось. Ведь он почти двадцать лет в Америке был профессором русского языка и литературы, уйдя на пенсию в звании заслуженного. Он сказал, что с огромным удовольствием. К лекциям готовиться не надо: «Вы бы стали готовиться к лекции, например, о Пушкине?» Говорил он всегда легко, безо всяких бумажек и от этого совершенно не уставал. А студенты его любили. И даже приглашали на свой мальчишник — единственного из преподавателей.

У Паниных И.В. познакомился с молодым поэтом и заинтересованно, переходя от одного стихотворения к другому, рассказывал ему, что у того хорошо, а что плохо. Вообще во всем, а в поэзии особенно, И.В. искал прежде всего хорошее. И находил. Он считал, что сейчас очень много хороших поэтов. И недоумевал — о каком упадке литературы речь. Но уж если ему приходилось признавать, что стихи плохи, он расстраивался, даже возмущался, как будто этот неумелый поэт оскорбил его лично. Мне, конечно, было интересно узнать его мнение об эмигрантских поэтах, которых он знал. О тех, кто ему не нравился, приходилось спрашивать не раз, и он делал вид, что вопроса не слышит. Наконец, уступая моей настойчивости, говорил, например: «Не поэт, а г...». Или: «Поэт, так называемый». Но зато о тех, кого ценил, говорил охотно, с удовольствием декламировал их стихи: Георгия Иванова («Я до сих пор помню, как Иванов это читал: “И Лермонтов выходит на дорогу...”»), Ирину Одоевцеву (поражаясь простоте, разговорности ее манеры), Владимира Смоленского (его «Стансы» каждый раз доводили И.В. почти до слез. «Это и обо мне», — говорил он), Ходасевича (и добавлял, что Адамович зря его недооценивал), Анну Присманову («Аня-Рыбка. Так она подписывалась в письмах ко мне. Рисовала рыбку»). В числе качеств мне в И.В. непонятных (и по сей день) — его отно-

шение к Пушкину. Ни разу ни в ком я не видела столь искреннего восхищения нашим великим поэтом. Когда И.В. говорил о Пушкине, было такое впечатление, что Александр Сергеевич — его ближайший друг, которого он потерял только вчера и до сих пор о нем плачет. То, что даже такой поэт умер, — было для И.В. примером величайшей несправедливости и настоящей утратой, в том числе личной.

Как-то к нам в гости зашли Ведьмины. Муж и жена. Они потом много раз всех нас фотографировали — И.В. любил сниматься. («На память».) Борис Викторович — строитель, фотограф, почти ровесник И.В. — оказался большим любителем и знатоком поэзии. Он читал нам стихи Анатолия Штейгера, и Чиннов был просто поражен: «В Советской России мне читают поэта “парижской ноты”!» И.В. рассказывал, как на его первом поэтическом вечере в Париже, где обсуждалась его книга «Монолог», Лидия Червинская вышла на сцену и сказала: «Тут все говорят о книге Чиннова. Может быть, она того и заслуживает, раз ее так хвалят, но я хочу поговорить о книге Анатолия Штейгера». (Которая как раз тогда тоже вышла, уже после смерти Штейгера.) Я, конечно, спросила, за что Червинская на И.В. окрысилась. Оказывается, она была влюблена в Адамовича. И ей не нравилось, что Адамович так хвалит Чиннова. Кстати, И.В. считал, что ее стихи похвал очень даже заслуживали.

За последние сорок лет у И.В. собрался довольно большой архив. Особенно он ценил письма. От более чем сотни разных людей, по большей части эмигрантов, с которыми он переписывался: Г.Адамович, В.Вейдле, С.Маковский, А.Ремизов, И.Одоевцева, З.Шаховская — очень много имен. По сути — весь литературный эмигрантский мир. И судьба архива И.В. очень беспокоила. Все его друзья в свое время продали архивы в разные американские университеты. О прижизненной продаже И.В. и думать не хотел. Оставалось — завещать. Именно в Подмосковье на даче он решил, что его архиву место в России. И не только архиву. У него в стихотворении «Мы давно отдыхаем...» есть строчки: «Падай с неба Флориды пепел серенький мой...». Это не поэтический образ. Он действи-



тельно не видел смысла в захоронении своих останков, потому что в конце жизни у него не осталось ни одного человека, которого он мог заподозрить в желании посетить его могилу. Его окружал вакуум одиночества. Это была абсолютная пустота, которая притягивала, ощущалась почти материально. Еще и поэтому, наверно, наши соседи были к нам так внимательны — не отозваться на это было невозможно. В то лето Чиннов решил, что прах его должен лежать в русской земле.

Из Москвы И.В. уезжал с твердым намерением на следующее лето приехать снова. Но не получилось. Зимой он сломал плечо, а долгое лежание в такие годы не проходит бесследно. По телефону он мне сказал, что о путешествиях теперь не может быть и речи.

А потом у него нашли рак. Врач сказал, что в таком возрасте эта разновидность рака может развиваться очень медленно, совершенно не беспокоя пациента. Но рак для каждого ассоциируется со словом «смерть». И И.В. решил привести в порядок свои земные дела. Первым делом архив. Для чего и предложил мне приехать к нему во Флориду. Весной девяносто пятого года я явилась пред его светлые очи. И Чиннова не узнала. Он похудел примерно вдвое. Стал похож на свои фотографии в молодости. Только с какой-то строгостью в облике вместо обычной веселости и добродушия.

Разборкой архива он занялся еще до моего приезда. На всех столах лежали горы бумаг. А под столами в очередь выстроились десятки железных коробок, тоже набитых бумагами. Бумаги были в ящиках шкафов и тумбочек. На полке шкафа, где хранились особо ценные вещи, вроде старых очков, кошельков, чековых книжек и визиток, я, в поисках нужного ему адреса, обнаружила желтоватую бумажку со стихотворением, которая оказалась автографом Мережковского, подаренным когда-то Чиннову Владимиром Злобиным. «Положи на место, — сказал И.В. строго. — Я и забыл про них. Там еще где-то стихотворение Гиппиус. Она, конечно, как поэт была посильнее его. Я давно это напечатал в “Новом журнале”». Бумажка с Гиппиус обнаружилась потом, так же случайно, двумя полками ниже. Видно, завалилась туда.

О некоторых письмах, полученных давным-давно, он, естественно, забыл и очень удивился пачке писем от Бориса Зайцева. Перечитывать не захотел, но велел положить на ту же полку, к Мережковскому: «Храни их. Они теперь денег стоят». А большинство писем перечитывал с удовольствием, иногда комментируя: «Владимир Васильевич (это Вейдле), дорогой! Извиняется, что первый мне не написал. Еще не хватало! Он кто был? — знаменитый ученый. А я кто был? — мальчишка».

Или: «Федор Степун. Какой ум! Мы с ним часто сидели в кафе в Мюнхене».

Или (в ответ на мой вопрос об очередном адресате): «Нет, мы с ним не дружили. Как Вы себе представляете можно дружить с коброй?»

Или: «Шаршун, душечка! Однажды написал: “С мокротой выплюнул клопа”. Ну к чему это? Зачем? Под старость прославился (как художник), разбогател и поехал на Галапагосские острова. А там ничего, кроме черепаш».

Или: «Сашуня Гингер! Он был потрясен смертью своей жены. Аня-Рыбка (Присманова). Из-за нее он почти перестал писать — считал, что из них двоих она настоящий поэт. Однажды в Париже я у них засиделся. Выхожу. Метро закрыто. И лед — милые, православные! Невозможно идти. Снял ботинки и всю дорогу до дома шел босиком». Я спрашиваю: простудился? Отвечает — нет. Привык к холоду. Комната в Париже была без отопления. А вода — только холодная. Каждое утро обливался холодным душем. И бегом вниз в кафе — пить кофе.

Показываю письма от Ремизова. «Здесь мало. Остальные у меня украли. Не спрашивайте — кто. Не хочу больше об этом говорить. Не расстраивай меня!»

Или: «Георгий Викторович! (Адамович.) О да! Каких людей я знал! Блестящий был критик. А какой оратор! Лучший из всех, кого я слышал. Великолепно говорил. Царство небесное!»

Мне часто попадались письма, подписанные закорючками, так что не поймешь — от кого. И.В. всегда знал, чьи они. Более того — знал, как звали жену адресата и какие книги тот

написал, если, конечно, таковые имелись. Но вот сплетен, касающихся той или иной персоны, рассказывать не хотел. Я это понимала так — наши тайны (старых эмигрантов) пусть умрут вместе с нами.

Здоровье И.В. все-таки начало беспокоить. И мы довольно много времени проводили у врачей. Ни с того ни с сего заболела нога. Врач сказал, что это может быть из-за рака. Я со своим скептицизмом тут же усомнилась в таком диагнозе, потому что он подозрительно напоминал советское: «Что же вы хотите — возраст». И мы решили, что И.В. не помешает хорошенько обследоваться, чтобы знать — надо ему лечиться (и как) или не надо. Один врач предложил быстренько прооперироваться — и все проблемы. Другой назначил кучу обследований, а потом сказал, что, когда рак в последней стадии и уже есть метастазы в костях, — оперироваться бесполезно.

Врачи обещали ему год жизни. Может быть, два. Всего? Я не поверила. В конце концов мы с ним сошлись на том, что врачи часто ошибаются. Назначили облучение. Потом уколы. Уколов И.В. очень боялся. Но, к счастью, их было немного. Остальное лечение было безболезненным. Да и нога то ли сама по себе, то ли от лечения болеть перестала. Так что чувствовал он себя не таким уж и больным. По-прежнему после процедур прямо из Центра для раковых больных предлагал поехать обедать в ресторан (предпочитал китайский). А в ожидании процедур развлекал себя и меня (как он объяснял) песнями на всех пяти известных ему языках. О смерти не говорил никогда.

Увы, врачи не ошиблись. Он прожил всего год. В мае девяносто шестого мне в Москву позвонила Бетти Зеньковская, соседка и давний друг Игоря Владимировича, и сказала, что 21 мая Чиннов умер. Она была с ним до конца. Он умер в больнице для раковых больных, не приходя в сознание, на 87-м году жизни. Последний день был в коме. А перед этим чувствовал себя нормально и просил, чтобы она принесла ему побольше книг.

Согласно воле И.В. Чиннова, прах его перевезен в Москву и похоронен на Ваганьковском кладбище.

Монологом приговоренного к смерти назвал Владимир Вейдле первую книгу Игоря Чиннова «Монолог», вышедшую в 1950 году в Париже.

Эта тема, с которой Чиннов вошел в русскую поэзию, осталась основной для всех его сборников, появившихся в Европе и Америке в последующие тридцать лет.

Из русских поэтов, пожалуй, только Иннокентий Анненский с такой же настойчивостью пытался заглянуть в ту таинственную закрытую дверь, которую все мы чувствуем у себя за спиной. Но Анненский, тяготящийся «узами бытия», ждет от смерти успокоения, его «тоскующее я» надеется встретить там «волшебную сказку». Чиннова небытие пугает, и хотя жизнь иногда кажется ему «жерновом на шее», все же волшебство, настоящее чудо красоты он видит в «этом мире» и хочет наслаждаться им «в теле этом». «Душа, приветствуй бытие!»

Чиннов любит жизнь и ненавидит смерть. Противопоставлением этих двух понятий, этих двух чувств заполнено его поэтическое пространство. Валерий Перелешин называл Чиннова самым трагическим поэтом нашего времени. Заметьте, не грустным, не мрачным. Трагическим. Трагедия — это всегда действие, конфликт, противостояние. Лирическому герою Чиннова не удастся ни на мгновение успокоиться, смириться, обрести статус кво. Самые чудесные картины земной жизни омрачены намеком на их бренность. И это заставляет нас вместе с поэтом особенно остро чувствовать сладость и краткость жизни. А самые мрачные, безнадежные мысли о смерти освещены надеждой на вечную жизнь. И мы тоже начинаем отчаянно надеяться, что «конец не конец» и что душа, «ванька-встанька», все же воспарит и воссияет.

Но даже если и так, если воспарит, — что мне, смертному, от этого?

Могу ли я быть счастлив, обретя эту веру? Моя личность, мое человеческое «я» — разве это и есть моя душа? Чиннову кажется, что нет. И будущее этих двух персонажей он видит по-разному. Если кто-то и поселится в «уютном уголке небы-

тия», то это будет как раз душа, неведомый «тот, который был когда-то я». А человеческая личность, увы, неотделима от нашей брэнной оболочки.

Потому не удивительно, что душа — загадочная и, кажется, даже бессмертная — самый интересный собеседник для поэта. Он называет ее душонкой-Аленушкой и просит: «Хоть бы рассказала ты мне хоть раз, как сияет вечно музыка сфер...» К ней он обращается во многих стихах. Это блестящая находка. У Чиннова в стихах столько находок, столько фантазии — как ни у одного другого поэта. Если ты хочешь, чтобы тебя слушали, — говори интересно. Чиннову это удастся. Но при этом иногда он бывает очень сдержан, даже скрытен.

Чиннов не посвящает нас в слишком личную для каждого человека тайну его отношений с Богом. Прямых обращений к Всевышнему в стихах у Чиннова почти нет. Они остаются как бы за кадром. Автор выдает нам лишь результат — «не отвечает небо». И с грустной иронией констатирует: «В тени молчания Господня я поживаю понемногу».

Зато с еще одним персонажем из созданного им виртуального мира Чиннов накоротке. Это Судьба. К ней поэт относится без особого почтения и бывает с ней то ласков: «Судьба моя, Судьбинушка», то насмешлив: «О Планида-Судьба, поминдальничай, полимонничай, попельсинничай». Судьбой своей он не очень-то доволен и порой величает ее «Дурехой Ивановной».

Вот, собственно, и все собеседники поэта. Сама их «условность» позволяет автору быть шутивным и ироничным, даже когда речь идет, в общем-то, об очень серьезных вещах.

С людьми Чиннов предпочитает не разговаривать. Поэзия его почти безлюдна. Редко-редко он беседует с себе подобными. И, как правило, в результате получаются очень грустные стихи: «Ну что же — не хочешь, не надо», «Я с тобой не поеду», «Милый друг, спасибо за молчание»...

Об одиночестве человека и поэта так много писали, особенно в эмиграции, что для Чиннова это запретная тема. «Сколько же можно все об одном и том же!» Ощущение одиночества становится в его стихах частью поэтической ткани,

фоном, объективной реальностью. Высказываться на эту тему поэт позволяет себе или иронически: «Мне с тобой, дружок-сосед, даже не о чем молчать». Или сухо, констатируя: «Пора понять, что не на что надеяться», — то есть эмигрантскому поэту на читателя. На самую возможность его появления.

В связи с этим приходится вспомнить, что стихи Чиннова писались в эпоху «железного занавеса» и при этом по ту его сторону. А читатели (те, кто умел читать по-русски) располагались, в большинстве своем, по эту. Хотя Чиннов и напоминает себе: «пора понять...», — все же, как и все его друзья, вынужденно оказавшиеся вне родины, он не переставал надеяться, что его прочтут, наконец, и в России. Для Чиннова, эмигранта «первой волны», Россия — родина. Слово это, производное от «родной», ассоциировалось у него с детством. Потому все самое теплое и светлое в его стихах обращено к России. Он жалеет людей, для которых пишет.

И вообще — это «добрый поэт». В его стихах нет жестокости, злобы, насилия. Он добр к миру, к животным, к людям. Чиннов старается утешить и поддержать своих собратьев по земной жизни, которая для них, как и для него, полна горестей и бед. Но все же в этой тяжелой, несправедливо устроенной жизни немало хорошего. Дар Чиннова — видеть это хорошее. Его поэтическое призвание — об этом рассказать: «...радостью земной я с кем не знаю поделился». Поэт делится с нами своей любовью к жизни. И это главное в его поэзии. Даже в самых грустных стихотворениях у Чиннова всегда есть лучик надежды, искра света, улыбка или, на худой конец, усмешка. Стих его действительно «веселый и печальный». И это признак настоящей поэзии, настоящего искусства, которое всегда жизнеутверждающе, всегда светло, всегда вселяет веру в добро и дает силы жить.

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» — повелевают поэты. Но только наделенным Божьим даром, поэтам Божьей милостью подвластны время и красота. Чиннов — один из них. Он прав, когда пишет, что «кто-то будет жить моим мгновением, в этих вот словах увековеченным». Он умеет не только остановить мгновение, но и нас вовлечь, чудесным образом

создавая эффект присутствия. Мы действительно соперееживаем, «проживаем» его стихи. И радость жизни, переполняющая автора, передается нам.

Хотя цвели, так нежно-пышно, вишни,  
И горлышко настраивала птица,  
И, может быть, прощал грехи Всевышний  
И воздавал за доброе сторицей;

Хотя на столик, бывший в полумраке,  
Вдруг полилось полуденное пламя  
И стали уши, острые, собаки  
Большими розовыми лепестками;

Хотя сияла чашка и тарелка,  
И луч висел небеснейшим отрезком,  
И за окном фонтан вдруг загорелся,  
Волшебный Феникс, несказанным блеском,

И все окно зажглось алмазной гранью —  
Но ты был грустен, смутно недоволен:  
Тебе хотелось райского сиянья,  
Которого ты тоже недостоин.

Кто этот «ты» в данном случае? Автор? Лирический герой? Читателю ничего не навязывается. Но, незаметно для себя, мы уже согласны принять это «ты» и на свой счет. А теплые собачьи уши щекочут ладонь.

В одной из рецензий Чиннова упрекали за «тоже» в последней строке. Якобы поэт должен был написать здесь что-то вроде «тем более недостоин», так как нельзя же райское сияние приравнять к прелестям земной жизни. Но в том-то и суть, что в мире, увиденном и созданном Чинновым, — можно. И это не кажется неубедительным. Автор не смотрит на мир сквозь розовые очки. Он сам испытал, что «жизнь — не одна благодать», и это прочитывается в стихах, где «пляшет, скачет темный Рок», где «обожжены, обнажены, обижены

края души». Но все же, все же: «Я наперекор судьбе жить по-  
дольше постараюсь — и советую тебе!»

Чиннов воссоздает мир, в котором живет — наш мир, — из своих «чувств и рифм, звучаний и видений». И этот мир великолепен. Тут и Греция, и Стамбул, и Рим, и Париж, и Бродвей, Пикадилли, Португалия, Дворец дождей. «И все это сияет и живет. Все это летает и поет», — восхищался Вейдле\*.

«Слышатся в его стихах издевательские шуточки, но и райские звуки, элегический минор, но и фантастический мажор. Он радуется неизвестной еще в русской поэзии игрой воображения: сияющей радугой щемящих вздыханий и резвых радостей. Техника Чиннова — совершеннейшая, каждое слово, каждый звук в его поэзии функциональны»\*\*.

Красотой звучания слов, мелодией стихотворения наслаждаешься ничуть не меньше, чем изображенным в нем миром.

Знаю, каждый бы охотно  
Жил прозрачно-беззаботно,  
Жил сияюще-легко,  
Так заоблачно-свободно,  
Так небесно-широко.

Как приятно это произносить, как легко! На одном дыхании. Какой завораживающий ритм полета, кружения создают эти открытые [о]. Поэт считал, что звучание стихов, мелодия, интонация гораздо важнее их содержания. Но все же Чиннов не ограничивается «чистой поэзией», и даже самые смелые поиски в области формы не приводят его к отказу от содержания.

Нельзя не заметить, что просто пейзажных стихотворений, стихов-зарисовок, стихов-настроений у Чиннова немного. Почти всегда в них есть ассоциативный ряд, своя символика, углубляющая стихотворение.

\* Новый журнал. 1976. № 123. С. 255.

\*\* Иваск Ю. Поэзия «старой» эмиграции // Русская литература в эмиграции: Сб. ст. / Под ред. Н.Полторацкого. Питтсбург, 1972. С. 65.



Например, это может быть связано с неизбежной для русской эмиграции темой ностальгии («Россия, детство, синий сумрак...», «Мне нужно вернуться...», «Мы положим на чашу весов...»). Или это благодарность за жизнь («А может быть, все же — спасибо за это...»). Кому? Богу? Но чаще всего красота природы у Чиннова — зримое и осязаемое подтверждение ее божественности.

Чиннов признается в своем «маловерии» и в том, что одна из причин, заставляющих его сомневаться, — несправедливое устройство мира, страдания людей, смерть. Зато красота мира — вселяет веру. Посмотрите, ведь «озаренное облако светится обещаньем заоблачной жизни», и

Подсолнух нечаянный  
У садовых ворот —  
Точно райской окраиной  
Рыжий ангел идет.

А закат молчит, «как бы задумавшись о Боге». Язык красоты мира для Чиннова — это язык Вселенной. Единственный, пожалуй, способ для Того, кто «смотрит на землю с неба», говорить с нами.

И поэт создает поистине грандиозный образ одушевившей земную природу божественной красоты и леденящего вселенского одиночества:

Увядает над миром огромная роза сиянья,  
Осыпается небо закатными листьями в море,  
И стоит мировая душа, вся душа мироздания,  
Одинокой сосной на холодном пустом косогоре...

Вот яркий пример мастерского использования символов и ассоциаций, принятых в русской поэзии (к чему Чиннов прибегает довольно часто). Как известно, в русской литературе середины XIX века широкое распространение получила теория о том, что природа одухотворена, что, слившись с природой, мы можем достичь слияния с высшим духовным нача-

лом, «мировой душой». Образ этот достаточно известен и, значит, хорошо работает. А более трагического символа одиночества, чем лермонтовская сосна, русская литература и вообще, пожалуй, не знает. Сочетание этих легко прочитываемых образов позволяет поэту с помощью всего нескольких строк добиться ощущения космического величия и неизбывного одиночества. А потом... совершенно по-чинновски, нас возвращают с небес на нашу матушку-землю, и мы очень по-человечески жалеем эту молчаливую страдальицу — «мировую душу», — чувствуя, как «прижимается к сердцу огромное сердце печали». Только в конце XX века человек стал так заносчив. Чиннов очень современен. Почти циничен. И все же его лирический герой мил, безобиден и непосредствен:

Маленький, пленный и тленный  
Тихо живу во вселенной...

Обезоруживающе искренняя, доверительная интонация чинновских стихов вызывает симпатию, иногда забавляет и всегда трогает. Стихи Чиннова узнаваемы. Хотя более чем за полвека поэтической жизни он многое изменил в своей манере. Попробуем проследить, с чего он начал. И к чему пришел.

\*\*\*

В Эмигрантской поэзии имя Чиннова появилось в конце сороковых — начале пятидесятых годов. Не будем здесь брать во внимание его самые первые опыты в журнале «Числа», поскольку сам он потом относился к ним скептически. Что собой представлял эмигрантский поэтический круг в это время? Какое место занял в нем Чиннов?

В 1954 году Николай Андреев, историк и критик, разбирая только что вышедшую антологию русской зарубежной поэзии «На Западе», где были и стихи Игоря Чиннова, резюмирует, что в русской эмигрантской поэзии, кроме традиционного направления, к которому принадлежат стихи З.Гиппиус, Д.Мережковского, И.Бунина, К.Бальмонта, Вяч.Иванова, Д.Кленовского, — наиболее заметны еще два: конструктивизм и антиформализм.

Конструктивисты, «перекликаясь с лучшим в новейшей поэзии России», занимаются поиском в области формы, языка, синтаксиса. К их числу Андреев относит М.Цветаеву, Н.Гронского, Вл.Смоленского, В.Маркова, Н.Моршена, Ив.Елагина, О.Анстей.

Антиформалистам, по наблюдению критика, свойствен жанр «лирического дневника». Их поэзия «с большей силой отражает неприкаянность и хрупкость здешнего мира». У этой поэзии «отнимают игру образами», но она «очень требовательна к музыкальной стороне стиха и к гармонии слов»\*. Это такие поэты, как Г.Иванов, Г.Адамович, А.Ладинский, Б.Поплавский, А.Штейгер, И.Чиннов.

Трое из названных поэтов-антиформалистов — Георгий Адамович, Анатолий Штейгер, Игорь Чиннов (а из неназванных еще и Лидия Червинская) — считались наиболее яркими представителями «парижской поэтической школы», или «парижской ноты», как ее стали называть. Главой и идеологом «парижской ноты» был Адамович, самый тонкий и блестящий критик русского зарубежья и яркий, завораживающий своей убедительностью оратор. Это он «отнимал» у своих приверженцев «игру образами», предлагая им делать стихи из совершенно простых вещей, таких, как стол, стул. Достаточно сказать — дерево. Липа или тополь — это уже лишнее украшательство. Чтобы сказать о самых главных, «последних» вещах — такого словаря, считал Адамович, вполне достаточно. Это литературное течение отличалось нарочитой обедненностью языка, предельной простотой стиха, суженностью его тематики, сжатой до основных, краугольных вопросов бытия.

Особенно сильно эта «нота» проявилась в парижском журнале тридцатых годов «Числа». В редакционной статье самого первого номера сделана попытка объяснить, какие «ощущения, предчувствия и мысли» владеют эмигрантами, объединившимися вокруг «Чисел». Авторы приходят к выводу, что атмосфера их жизни насыщена «ощущением великих

\* Андреев Н. Заметки читателя // Возрождение. 1954. № 32. С. 133–134.

катастроф и перемен, происходящих в мире. Война и революция, в сущности, только dokonчили разрушение того, что кое-как еще прикрывало людей в XIX веке. Мировоззрения, верования — все, что между человеком и звездным небом составляло какой-то успокаивающий и спасительный потолок — сметены и разрушены.

И бездна нам обнажена.

У бездомных, у лишенных веры отцов или поколебленных в этой вере, у всех, кто не хочет принять современной жизни такой, как она дается извне, — обостряется желание знать самое простое и главное: цель жизни, смысл смерти\*.

Сам Адамович уже гораздо позже, в опубликованной в «Новом журнале» статье «Оправдание черновиков», писал: «Мы с нашей “нотой” были оставлены всеми. Россия казалась призраком, притом враждебным. Казалось, мы на поплавке, а вокруг бушуют волны. Впервые в истории возникло такое одиночество, и в ответ на одиночество хотелось произнести как бы последние, окончательные слова, <...> лишь черные и белые, не заботясь о каких-либо литературных “достижениях”»\*\*.

Нарочито ограничивая себя в средствах выражения, приверженцы «парижской ноты» демонстрировали читателям застухание, умирание русской поэзии. Ища самые главные, последние слова, исчерпывающие и всеобъемлющие, как последнее «прости», они ощущали себя ее последним, завершающим аккордом.

Таким образом, два ближайших старших друга Чиннова — Владимир Вейдле и Георгий Адамович — были захвачены одним ощущением — умирания искусства. Только Вейдле ограничился теоретизированием, написав книгу, которая так и называлась — «Умирание искусства» (Париж, 1937), а Адамович оказался вдохновителем целой поэтической школы, кото-

\* Числа. 1930. № 1. С. 6.

\*\* Адамович Г. Оправдание черновиков // Новый журнал. 1971. № 103. С. 79.

рая вполне могла бы называться не «парижская нота» (последняя, случайная, еще звенящая в воздухе), а, например, «умирание поэзии».

В духе «парижской ноты» Чиннов писал все пятидесятые годы. Из стихов этого периода составились два сборника — «Монолог» и «Линии». Потом он освободился от влияния «парижской ноты». Сам он уже в конце жизни говорил, что, например, его четвертая книга нравится ему больше, чем первых три сборника. Но его парижские друзья, кажется, все же больше любили раннего Чиннова, ценя «тончайшие стилистические находки, переливчато-перламутровые оттенки» \* его ранних стихов.

\*\*\*

МОЖЕТ БЫТЬ, существенную роль в перерождении Чиннова сыграл его переезд в Америку в 1962 году. Хотя кто знает, действительно ли именно американские впечатления изменили его поэтический настрой? Так или иначе, но в шестидесятые годы Чиннов все больше отходит от «парижской ноты» и все настойчивее ищет путей модернизации русской поэзии, постепенно приобретая славу первого модерниста эмиграции. Поэт как бы осторожно прощупывает почву, ища направления, по которым дальше могла бы идти русская поэзия, проверяя, как далеко он может зайти в этом поиске. И здесь ему приходилось руководствоваться только чувством меры и собственным вкусом. Эмиграция с интересом наблюдала за чинновскими экспериментами, констатируя при этом, что при всей неожиданности некоторых стихов ни вкус, ни чувство меры ему не изменили. Однако далеко не сразу его поиски были приняты и одобрены в литературных кругах. В одном из писем Роману Гулю, главному редактору «Нового журнала», Чиннов пытается объяснить, что заставило его искать новых путей в поэзии:

«Как-то сложилось мнение (считают, что, в частности, благодаря Кленовскому и Алексеевой), что эмигрантская поэзия дудит все в одну, причем очень старомодную, дуду. Я

\* Адамович Г. Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 205.

хоть и стараюсь всегда “немного новаторствовать”, освежать, но из-за пристрастия к мелодичности, акварелизму, “ювелирности” и пр. новаторство мое не бьет в глаза и заметно только читателю очень внимательному и очень искушенному. Вот отчего, думается, стихотворение “Тени войны на замерзшей дороге” уже своим явным модернизмом должно бы нежелательные для всех нас обвинения в старомодности несколько ослабить... У меня было уже так много “облаков”, “закатов” и пр. явных красотей, что при всей замысловатости, с которой я их подаю, всегда подавал, пользоваться ими уже почти невозможно. И вот нынешний мой прием — сочетание слов явно выпрєнных, как “порфира”, “золотая лилия”, “осанна”, “фимиа́м”, со словами сугубо будничными, как “рюмка” или “стакан чаю”. Ни в “Монологe”, ни в “Линиях” этого почти не было. Там было использование до отказа, до конца почти всех “акварельно прелестных” слов. Теперь я не отрицаю своего эстетства, но стараюсь, должен дать что-то новое. Надо бы мне несколько отойти от логики в стихах. Заранее прошу вашей терпимости к некоторым “странным словосочетаниям”. Ведь логика — не самодержавная хозяйка в стихах, и не следует полностью (как это делают многие талантливые эмигрантские поэты) игнорировать факт уменьшения роли логики в современной иностранной поэзии и вообще все то, что в этой поэзии делается. Не нужно быть рабами моды, но не нужно и костенеть в провинциализме. И уж вовсе не полагается нам, свободным, казаться провинциальнее советских поэтов»\*.

Собственно говоря, здесь Чиннов уже наметил направление, по которому и развивалась в дальнейшем его поэзия.

1. Сочетание поэтизмов с элементами разговорной речи, даже с грубой, простонародной лексикой («видал-миндал», «свинья, запачкавшая рыло», «на свадьбе пьянствовали и горланили, как будто в Кане Галилейской»). Но никогда у Чиннова стихи не звучат грубо или пошло. Он мастерски использует стилевые контрасты. И постепенно этот прием становится частью его поэтического почерка.

\* ИМЛИ РАН. Отдел рукописей. Ф. 614, архив И.В.Чиннова.

2. Отказ от логики. Это привело Чиннова не к алогичной бессмысленности, а к гротескности — то есть к усилению смысла за счет чрезмерных преувеличений, фантазмагории, сонма неожиданных образов. (Хотя фантазии у Чиннова достаточно и в ранних книгах.) Созданные им образы то забавны, то пугающи, то романтичны, то трогательны («сердце сожмется — испуганный ежик — в жарких ладонях невидимых Божьих» или «бабочка треплется, мечется — тоже, как видно, сестра человечества», а в поздних стихах, стихах-гротесках: «вурдалаки, утопленники в полумраке», в коробке сардинок «лежал человек и мирно курил» и т.д.). И все же в стихах, пусть грешащих против логики, должен быть смысл, считал Чиннов, ведь поэт прежде всего что-то хочет сказать, и неплохо бы, чтобы его можно было понять. Хотя, безусловно, если кому-то, чтобы выразить себя, хочется писать «темно», — это его право.

3. Верлибры. Уже в начале 60-х годов у Чиннова все чаще стали появляться стихи без рифм. Тогда в одной из передач радиостанции «Свобода» Чиннов говорил, что да, рифмы и ямбы устарели, «но стихи без рифм и размера для меня обычно вроде вегетарианского меню. Есть исключения. Но стоит ли трудиться, чтобы сделать хорошее, непременно отказавшись от рифмы, от очарования звуковых повторов вообще, от очарования ритма?»\* И хотя позже у Чиннова появилось довольно много верлибров, он все же предпочитал рифмовать, считая, что в русской поэзии рифмованная строфа еще не исчерпала всех своих возможностей и, более того, сам строй русского языка хорош для рифмованных строк.

Вообще надо сказать, что некоторое звучание «парижской ноты» слышится и в более поздних стихах Чиннова. Просто в них появилось и другое — красивость, пышность, гротескность, веселость, язвительность, яркость.

Вот что об этом сам поэт пишет Адамовичу в связи с выходом своей третьей книги (которую сначала хотел назвать «Мелодия»): «...Книжка будет еще более, чем “Линии” (и гораздо больше, чем “Монолог”), — о “сияющих пустяках” “накануне беды и тоски”, накануне смерти, накануне “ничего”. О “сияю-

\* ИМЛИ РАН. Отдел рукописей. Ф. 614, архив И.В.Чиннова.

щих пустяках” (цитата из “Линий”). И не знаю, простите ли мне, что по бессилию сделать поэзию из простейших, обыденнейших вещей, из “стола и стула” (см. «Невозможность поэзии»\*) — я занялся украшательством, вместо того, чтобы сказать с Вами, что лучше “не надо никакой” (поэзии). <...>

“Сияющие пустяки” в моих стихах гораздо ближе к “парижской ноте”, чем на первый взгляд кажется. Например, пусть мелочей, деталей у меня стало больше: все-таки разговор всегда “о самом главном”, мелочи относятся к главному, словарь по-прежнему строгий. И не это одно от “парижской ноты”. В “Монолог” мир часто объявлялся иллюзией. В “Линиях” этого нет вовсе, но с “Монологом” есть связь. В третьей книжке будет связь и с “Монологом”, и с “Линиями” — и с парижской нотой, точнее с мыслями Адамовича. <...>

Кстати: смешное дело. Мы в таком страхе перед “joliesses”\*\*, что даже не решаемся сказать “c'est beau”\*\*\*. Принято говорить “c'est très fort”\*\*\*\*, точно об ударе боксера в морду.

И вот, представьте: я-то, простачок, издаю, как ни в чем не бывало, книжку стихов “Мелодия”! Это в 1966 году! Когда в современной музыке-то и следа мелодии не отыскать, один ритм (а то и ритма нет, ха! Додекафония, знай наших!)! И (вот уж Аким-простота!) издаю книжку с красотами, всю в словесных украшениях и благозвучиях! Прямо с луны свалился, и смех и грех! Это в наше время, когда!.. Что скажет К.Померанцев?»\*\*\*\*\*

В конце концов книга вышла все же под названием «Метафоры». Хотя «словесные украшения и благозвучия» в ней все остались, что, как видим, Чиннов считал одним из своих завоеваний на пути от «парижской ноты».

\* «Если поэзию нельзя сделать из материала элементарного, из “да” и “нет”, из “белого” и “черного”, из “стола” и “стула”, без каких-либо украшений, то Бог с ней, обойдемся без поэзии!» — писал Г.Адамович (глава «Невозможность поэзии» в кн. «Комментарии». Вашингтон, 1967).

\*\* Красивостями (фр.).

\*\*\* Это хорошо (фр.).

\*\*\*\* Это сильно (фр.).

\*\*\*\*\* ИМЛИ РАН. Отдел рукописей. Ф. 614, архив И.В.Чиннова.



\*\*\*

В книге «Партитура», вышедшей в 1970 году, появляются стихи-гротески. Чиннов с удовольствием и очень успешно использует прием сочетания «низа» и «верха» — «трактира, собора и безветрия», нежнейших поэтических строк — с бытовыми, разговорными фразами, просторечными присказками, поговорками, самые горькие, отчаянные слова соседствуют с шутками-прибаутками. Не успеешь заплакать — уже смеешься.

Да, утомило, надоело,  
 Осточертело все к чертям.  
 Душа, хватай под мышки тело,  
 Бежим в Эдем, бежим в Сезам!

В книге много русских фольклорных образов («Мели, Емеля, твоя неделя — ай да люли, разлюли малина!»). Стихи блещут неожиданными находками. Именно здесь напечатано ставшее классическим примером модернизма стихотворение «Лошади впадают в Каспийское море...», здесь пронзительное коротенькое стихотворение без рифм: «Так и живу, жуком, опрокинутым на спину...». Появляется в этой книге и еще одно новшество — придуманные поэтом неологизмы («В Похоронию, Харонию, в Погребалию плыву...»).

Постепенно «новый Чиннов», который «заговорил так громко», что поначалу испугал, даже ужаснул своих парижских критиков-друзей, был принят. Да и невозможно было не принять эти стихи. Они ни чуть не меньше задевали за живое, проникая в душу, чем ранние парижские. Вот уж действительно «в сердце прыгнула игла», о которой написал Адамович в «Комментариях», размышляя, какие должны быть стихи: «Чтобы, как аэроплан, тянулись, тянулись по земле и вдруг взлетали <...> если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывается пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а всё вместе слегка двоялось. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы

нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы “ах!”, чтобы “зачем ты меня оставил?”, и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, “последний ключ”, от которого он уже не оторвется»\*.

\*\*\*

Отойдя от «парижской ноты», Чиннов продолжал свои новаторские поиски. Они вовсе не были самоцелью. Поэт искал наилучший язык для разговора с читателем, который с годами очень изменился. На смену романтике шестидесятых пришли ироничность, скептицизм, подчеркнутое опрощение, снижение тона. Чиннов как-то написал, что «на двадцатый век тебе в стихах не удастся отозваться». И все же удалось. Со страниц чинновских книг с нами говорит человек конца XX века, для которого космонавты, галактики, думающие машины, переселение душ, нейтронная бомба, поиск веры, наркотики, предсказания судеб — будничная реальность, переплетенная самым причудливым образом в то, что можно назвать менталитетом землянина накануне третьего тысячелетия.

В 1972 году, через два года после выхода «Партитуры», появляется пятая книга — «Композиция». Это «композиция» из ранних и поздних стихов поэта — в книгу включены стихи «Монолога», расположенные вперемежку с новыми. Иллюзорность мира, которая была в «Монологе», опять занимает поэта. Но теперь это мир галлюцинаций, созданный его фантазией и приобретающий гротескные черты. Там мы встречаем общество «кентавров, минотавров, реакторов, министров, минометов». А «Таракан Тараканий Великий, властелин пауков и лемурув» идет войной «на лангуста Лангуста, властелина мокриц и мандрилов».

Ирония, помогающая людям двадцатого века выжить, имеет и свою оборотную сторону. Автор замечает, что «смертельное ранение иронией» не проходит даром. Ирония часто граничит с цинизмом. И тогда уже все дозволено, и «нежатся с акулами святые, грешники сыграли с Богом в мяч». А вмес-

\* Адамович Г. Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 6–7.

то трогательного «прощай, уезжай, не жалея» можно сказать и так: «Ушла коза от козла. Ушла».

Но все же и эта книга — «композиция света и тени». Далеко не все галлюцинации поэта сумрачны. Например, он допускает: может случиться, что «после смерти мы будем жить где-то на окраине Альдебарана», где даже смерть «в платье из розовой антиматерии» скучает от безделья.

Продолжая начатые поиски путей соединения несоединимого, автор приходит к мысли, что «царство грязи и царство сирени» — как раз и есть «гармонический мир».

Юрий Терапиано тогда писал: «Один из самых видных современных поэтов эмиграции, Игорь Чиннов в последние годы весь отдался трудной и порой неблагодарной задаче обновить поэзию, найти новый, никогда еще не бывший подход к сюжетам и в то же время преобразить и формальную сторону стихотворения, выявить новые оттенки звукового и смыслового содержания слов. Он смело оперирует во всех областях своего опыта, играя иногда самыми рискованными образами и словосочетаниями, стремясь поднять прозаизмы на уровень поэзии в надежде, что вдруг в них что-либо по-настоящему просияет — и это сияние, действительно, возникает»\*.

В этой книге много верлибров. Чиннов, будучи глубоко русским поэтом («Вчитаться в Чиннова, в чеканный русский лад», — пишет в посвященном Чиннову стихотворении Михаил Юпп), жил всю жизнь на Западе и, как большинство эмигрантов, в большей или меньшей степени вживался в западную культуру. В его случае, пожалуй, в большей. Он знал языки (немецкий, французский, английский), всегда был открыт для нового, как говорится, «жаден до жизни», много путешествовал, умел ценить искусство и получать от него настоящую радость, будь то живопись или поэзия. Кстати, западное искусство он знал довольно основательно. Настолько, что вел на радиостанции «Свобода» рубрику о западной живописи. А что касается новых течений в филологии, то, конечно, он знал о них как профессор-филолог. Естественно, особо его интересовало, что

\* Русская мысль. 1972. 9 ноября.

происходит в мировой поэзии (отсюда и большое количество эпиграфов из западных поэтов XX века). А там все давно уже пишут свободным стихом. В «Композиции» поэт отдал дань этой западной моде. И все же ему пришлось признать, что в русской поэзии верлибр как-то не приживается. Может быть, это дело будущего. Хотя в дальнейшем Чиннов от свободного стиха все же окончательно не отказывается.

В «Композиции» Чиннов дальше, чем во всех других книгах, ушел по пути эксперимента. Того самого обновления русской поэзии, о котором писал Терапиано. Ирина Одоевцева, давняя и постоянная поклонница поэзии Чиннова, даже вынуждена была оговориться в рецензии, что книга Чиннова обращена к потомкам, что он опередил время — современники еще не готовы воспринимать такие стихи. Впрочем, кажется, и сам автор это почувствовал, присоединив к новаторским стихам старые, из «Монолог», чтобы хоть как-то притушить недоумение, возникающее у многих читателей. В следующих книгах Чиннов отказался от такого нарочито смелого экспериментирования.

\*\*\*

Вышедшие в 1976 году «Пасторали» настолько не похожи на «Композицию», насколько могут быть не похожи книги такого своеобразного и узнаваемого поэта, как Чиннов. Кажется, что автор засвидетельствовал свое почтение западной цивилизации, отдал дань европейской культуре как ее если не сын, то пасынок, и вернулся к русской поэтической традиции, где

Полны надышенной прелести  
Наши земные печали,  
Как уютные мелочи  
В доме, где мы вырастали...

Стихи «Пасторалей» — нежные, лирические, полны жизнелюбия и восторга перед миром: «Я залюбовался пиром — рубином, изумрудом и сапфиром, живым, живым, но непонятным миром».

В своей поэме «Играющий человек» (появившейся в советском самиздате в 1977 году), Юрий Иваск так пишет о Чиннове, с которым «уже тридцатилетие друзья»:

По рассмотрению — веселый малый:  
Уж не из Хлебникова ли смехач?  
Ночами Вопленица наставляла  
Его (из Анненского): — Чаше плачь!  
Утешился бы с пушкинской Резвушкой.  
Быть Игорю (ей-ей) ее игрушкой!  
Кукушка меланхолии: куш-куш.

Да, про автора «Пасторалей» действительно можно сказать «веселый малый».

Марк Слоним, тоже хорошо знавший Чиннова, писал: «У него живой и насмешливый нрав, он радуется своим выдумкам, каламбурам и забавной игре словами, составляющей одну из самых характерных особенностей его поэзии»\*.

По количеству разных выдумок, по богатству образов среди современных русских поэтов Чиннову трудно найти равного. В «Пасторалях» это образы, рисующие богатство матери-земли, с ее «полурайскими садами», где и «цветы всего цветистее», и «птицы-самоцветы», и «в платье розовом метиска», а «наряды поярче цветов и зари», где «пляшет краля, и все у нее — ходуном», где мы «кусаем уголки горячей пиццы», где «влажно-солнечные Гаваи» и влюбленные «в сиянии райского тепла кусали яблочко наливное, счастливые, не зная зла».

Поистине, владеющий всем этим — богат, «как богдыхан, как падишах!»

Пожалуй, прав Михаил Крепс: «Чиннов, несомненно, единственный и, по-видимому, последний эстет нашего времени... Красивее в стихах не бывает»\*\*.

\* Новое русское слово. 1973. 6 мая.

\*\* Крепс М. Поэтика гротеска Игоря Чиннова / Новый журнал. 1990. № 181. С. 90.

Каких только красок, оттенков, птиц, зверей, камней, цветов у него нет!

И тем сладостнее кажутся рисуемые поэтом картины, чем убедительнее образы уходящей жизни, где, «как в море маленькие крабы, часы бегут, бочком, бочком», где «стоит, будто аист, время твое, улететь собираясь».

Искорки юмора, рассеянные среди всего этого красочного изобилия, перемежающегося небезосновательной печалью, делают книгу не восторженной, а именно радостной, хоть и с «пронизывающим трансцендентальным ветерком».

Конечно, как обычно, автор немного иронизирует над всеми этими восторгами. Ирония слышится уже в названии книги. Кстати, автор и не думает темнить с читателем, прятать смысл в хитросплетениях слов, скрывать свою иронию. Чиннов считал, что поэт вообще не имеет права рассчитывать на то, что читатель будет делать какие-то усилия для понимания его стихов. Потому на первой же странице книги он честно делится с нами напутствиями, данными ему Музой:

Да, не без иронии порой,  
Звуками и красками играя,  
Утешай поэзией-игрой,  
Радужной сонатой полурая.

Весь восторг и упоение от экзотики райских уголков земли, которых повидал немало, оставаясь неутомимым путешественником до последних лет жизни, поэт попытался вместить в эту книгу. А «кукушка меланхолии» и легкая насмешка надо всем и вся добавляют к этому праздничному фейерверку сладостно-щемящее чувство скорой утраты.

\*\*\*

«Антитеза» (1979) — это, как пояснял Чиннов, антитеза «Пасторалиям». По его словам, мажорные стихи он «свалил в одну кучу» и составил «Пасторали», а минорные — в другую. Из них и получилась «Антитеза».

Минорные — пожалуй, мягко сказано. Почти все стихи в «Антитезе» — о смерти. Это завораживающее Ничто («По-жрет Ничто страдания и старанья...»), пугающее и притягивающее, поэт как будто обходит то с одной стороны, то с другой, не в силах отступить и находя в своем кружении все новые ракурсы, новые повороты темы, не дающей покоя («Все хочу подумать о смерти...»).

Конечно, никакой романтики в стихах о смерти у Чиннова быть не может, никаких Прекрасных или Непрекрасных Дам. А может быть только вынужденное признание неизбежности, с которой нужно, борясь с отчаянием, хоть как-то примириться. Вот он и ищет — как?

Впрочем, однажды Чиннов все же «размечтался» («О, прожить бы последние годы, как волшеббно-нарядный балет...»), и «мечта» приобрела образ легко подбегающей балерины. Повод к тому был, надо признать, основательный: «последняя воля в конверте» — завещание. По сути, соглашаясь на свою смерть, остается только мечтать, что

...В розовато-жемчужном трико,  
Улыбаясь, качаясь змеино,  
Смерть, пленительная балерина,  
Подбежит на пуантах легко.

И все же Чиннов верен себе — даже «в мечтах» смерть для него омерзительна. В розовато-жемчужном, как червяк, качаясь змеино (вот-вот ужалит), при этом улыбаясь (жеманно), да еще и в трико. Вот уж действительно — «плюнительная» (так хочется произнести, хотя именно «плен» тут как раз подходит по смыслу). А ведь стихотворение получилось пророческое. «Балерина» действительно «подбежала легко», ее приближения Чиннов, находясь в коме, не слышал.

В книге большая часть стихов — гротески. Известное «Я недавно коробку сардинок открыл...» — тоже здесь. Возможности гротескового жанра позволяют Чиннову «просветлить» даже самые мрачные картины. Он то передает «привет носорогам и утконосам», раз уж «мы все, господа, остались с носом» —

это о «вымирающих» старых эмигрантах. То подшучивает над собственным отчаянием:

Подходит срок и — битте-дритте!  
Печален, братцы, наш удел:  
Пожалуйте, милейший, бриться!  
«Пустынник ахнуть не успел».

Борис Нарциссов, критик и поэт, писавший полные фантастических, мрачных видений стихи, ценил в поэзии Чиннова именно диссонанс, который, по его мнению, «представляет то ценное, что Чиннов внес в поэзию, не только эмигрантскую, но и вообще в русскую... Серебристая сиреневатость... густо “забелается дегтем” гротеска, что создает интенсивность и силу»\*.

Не писать беспросветно-мрачных стихов — было, так сказать, тактической установкой Чиннова. И ему вполне удалось соблюдать этот самостоятельно установленный закон. А по поводу своего самого мрачного, как он считал, стихотворения — «В безвыходной тюрьме Необходимости...» — говорил: «Я тогда был в очень подавленном настроении. Все-таки так нельзя писать».

Кстати, время написания «Антитезы» — это и время выхода заслуженного американского профессора Игоря Владимировича Чиннова на пенсию. А вот «отражение этого события» в творчестве поэта:

Нам с Фортуною милейшей,  
С маленькой жеманной гейшей,  
Гейшей стиля рококо,  
Танцевать весьма легко!

Потому что отныне — думать ни о чем не надо, никаких «финансовых забот» — «золотой фонтанчик бьет». Умение находить в жизни повод для улыбки или для смеха — особенность Чиннова-человека и Чиннова-поэта.

\* Письмо Б.А.Нарциссова к И.В.Чиннову от 13 сентября 1974 г.



В одном из писем Иваску Чиннов пишет о каком-то поэте (не называя фамилии), которого читает, «через силу перемогаясь. “Рифмы” без опорной согласной невыносимы для свиного уха, от них хоть кричи: родимчик начинается, кликушей стать можно! Как он “пускает” такую “рифмовку”? Ее одной довольно для ярлыка “графоман”. (Поставил шоколадкой пятно. Срезаю.) <Часть страницы отрезана.> ...И ведь совершенно безблагодатные стихи. Ни одной находки. И ни одной улыбки. (Он начисто лишен юмора.) Духота страшная. Читать — мука».

Конечно, когда поэт берется за перо, он уже не думает ни о читателе, ни о каких законах. Хотя, как писала Зинаида Шаховская в рецензии на «Антитезу», «стихи Чиннова сложны, изощренны, и законы поэтического ремесла ему прекрасно знакомы. Но за ремеслом стоит и то необъяснимое, что служит ему сырьем, — внутренний слух, улавливающий гармонию слияния звука и ритма»\*.

Создание стихов — «не алгебра и не игра, а контра-пунктик музыканта», — признает поэт. Кончающееся так стихотворение начинается строками: «Из шелухи, из чепухи плохие шуточки и штучки...» Это — диалог с ахматовским: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи...». В эмиграции разговор о сути поэзии мог вестись свободно, без оглядки на «идейность». И на эту тему высказывались — стихами или прозой — наверно, все эмигрантские поэты. Но особенно интересно, образно и точно написал об этом Владимир Вейдле в книге «О поэтах и поэзии» (Париж, 1973). В главе «Из чего делают стихи» Вейдле вспоминает о разговоре Малларме с художником Эдгаром Дега, который «не прочь был пописывать стихи, особенно сонеты, и мастерила их довольно умело». Живописец жаловался поэту, что испытывает затруднение в деле написания стихов, хотя мыслей, «идей для стихов у него вполне достаточно». «Стихи, мой друг, — ответил Малларме, — делаются не из идей, а из слов». Знаменитая фраза. Крамольная с советской точки зрения, но для эмигрантской поэзии — основополагающая и принятая,

\* Русская мысль. 1979. 15 ноября.

правда, с разными «но». Вейдле, например, размышляя на эту тему, в конце концов приходит к необходимости в стихах «звукосмысла» — «совершенного слияния звука и смысла», хотя это «не правило, не “требование” и вообще не что-то, чего можно достигнуть сознательно его ища». В стихах «интонация, ритм, звучание слов», сливаясь со смыслом, его изменяют или дополняют, замечает Вейдле\*.

У Чиннова находки в сочетании звука и смысла слова — одна из особенностей его поэзии. Вот два звучания слова «легко» (в процитированных выше стихотворениях), дающие совершенно разную эмоциональную окраску. «Легко» — безрадостное, относящееся к «балерине», и «легко» — летящее, в строчках о Фортуне. В первом — произносимом с сожалением: «...ах лехко» — выделяется хрипящее [х] из-за [х] (пуантах) и дребезжащего [ж] (подбежит). И совсем другой, радостный звук во втором «легко» — [о], легкое, как будто приподнимающее, подготовленное напевными [а] в предшествующих словах и множеством [о] в легкомысленном «рококо».

Что это — «сознательно» подобранные слова или «услышанные»? Мастерство или талант? Чиннов называет поэта мастером «золотых изделий из слов и рифм, звучаний и видений». Но бесполезно спрашивать его, булгаковский ли это Мастер или мастер-ремесленник. Кто может ответить на вопрос: «Поэзия — это Божий промысел или людской?» Вейдле в книге вместо ответа приводит четверостишие Чиннова, которого называл Поэтом (с большой буквы):

А что стихи? Обман? Благая весть?  
— Дыханье, дуновенье, вдохновенье.  
Как легкий ладан, голубая смесь  
Благоуханья и благоговенья.

Конечно, Вейдле, как и большинство литераторов-эмигрантов, верил, что поэзия — дар. Владимир Смоленский даже решил эту мысль сформулировать: «Божественность по-

\* Вейдле В. О поэтах и поэзии. Париж, 1973. С. 136, 162, 171.

эзии в том, что лучшие строки даются прекрасно и даром. Задача поэта-мастера ответить этим данным строкам, и ответные должны быть если не равны, то подобны строкам данным. Можно и нужно учиться стихосложению, но невозможно научиться поэзии, которая есть дар»\*.

\*\*\*

В Последней из оставленных нам Чинновым книг — «Автографе» (1984) — мастерство поэта проявилось в полную силу. За тридцать лет — «Монолог» был напечатан в 1950 году — поэт далеко ушел по пути поиска новых поэтических форм и приемов, сохранив при этом свою интонацию, делающую его стихи узнаваемыми независимо от их «формы». В «Автографе» особенно заметно, насколько разные у Чиннова стихи. То добродушная насмешка или довольно едкая сатира, то отчаяние; Чиннов то балагурит, то грустит. И какое богатство образов! Каждое стихотворение — как микромир — со своей музыкой, настроением, драмой, сюжетом. И за каждым — выстраивается целый ряд ассоциаций, впечатлений. Вообще, стихи Чиннова похожи на айсберги — мы ощущаем, угадываем скрытый в глубине огромный опыт пережитого, пережитого и пережитого автором, но видна нам лишь искрящаяся вершина.

Зинаида Шаховская писала, что «Автограф» кажется ей лучшей из книг Чиннова: «Хвала поэту, читателя своего удивляющему»\*\*.

Поэт не устал восхищаться чудом жизни — как заразителен в своем восторге щенок, который бежит по краю океана, «вилая счастливым хвостиком. Почти осанна была в блаженстве тоненького лая» — как высоко взлетели эти счастливые звуки. И по-прежнему радуют душу воспоминания — становится светло и «весело в мире явлений», когда вдруг видишь, как «свинка в сиянье луча ест апельсинные корки».

С лирическими стихами в книге соседствуют философские, где слышна горечь скорой утраты. В песочных часах

\* Возрождение. 1954. № 32. С. 141.

\*\* Новое русское слово. 1985. 25 марта.

жизни сочтены все песчинки — не хватает всего двух. «Огонек мой совсем на исходе». И кажется, поэт уже что-то решил для себя и почти отстраненно наблюдает — «простой наблюдатель, за уткой, которая в реку влетела, как в небо — душа (только более смело?)». Даже появляется неожиданная для Чиннова тема «свободы выбора»: эти белые таблетки — «добавь еще штук семь — и почти без досвиданий успокоишься совсем». Но все же: «Лучше подольше попробуем здесь оставаться — подобием Божиим, хоть приблизительным...»

Мир природы прекрасен. А люди? Поэт, почти уже чувствуя, как «водицу тусклого Стикса душа переходит вброд», вдруг оглянулся на сообщество «двуногих». На прощанье пытаюсь сказать последние, несказанные слова? Да нет — патетика Чиннову совсем не свойственна. Тогда что случилось — почему в стихах у Чиннова становится так многолюдно? То «дачник рыбачит на озере», то «соседи суетливые мои» — «обмениваемся поклонами», то турист из Большого Шакала. Раньше, за неимением лучших слушателей, он «говорил о радостном, о грустном в пещере — сталагмитам и моллюскам». А теперь:

Я говорил глухому перуанцу  
На неизвестном, странном языке:  
— Вы разучились поклоняться Солнцу,  
И ваши храмы — в щебне и песке.

Правда, «глухой перуанец» при этом еще и «спал, лежал, беспечный. И не ему я это говорил...».

И кто эти забавные «существа из далеких галактик», которые «с нами выпьют на ты, я уверен, и по-русски спуют нам про чубчик, кучерявый...»?

В 70-е годы новая, третья волна эмиграции хлынула из Советского Союза на Запад, все усиливаясь к концу десятилетия. К 1979 году уже десятки тысяч людей переселились в Америку. Вот тот долгожданный русский читатель, которого так не хватало писателям старой эмиграции! И Чиннов в опубликованном в 1974 году стихотворении обращается как

раз к ним: «Вы не спорили, русские мальчики, о таинственной вещи — бессмертии?» — предлагая интересную, как ему кажется, тему для разговора.

Но десятью годами позже «русские мальчики» уже кажутся поэту существами из далеких галактик, спор с которыми может быть только на уровне спора «сумасшедших с полоумными». Как известно, старая и новая эмиграции не нашли общего языка, расходясь слишком во многом. И главное — в отношении к России.

Кирилл Померанцев, литературовед, один из парижских приятелей Георгия Иванова (Иванов даже когда-то правил его стихи), в 1979 году писал, что с некоторых пор в эмиграции, прямо как в Советском Союзе, «считается нормальным, характеризуя дореволюционную Россию», выставлять ее не в лучшем свете. Померанцев спорит с такой точкой зрения, приводя множество аргументов, и в том числе мнение поэта и писателя Поля Валери, который отмечал в своем дневнике, что в мировой истории он знает только три чуда — «Древнюю Элладу», Итальянское Возрождение и Русский Серебряный век»\*. Для Померанцева Россия Серебряного века — это Россия его детства. А многие пришельцы из нового СССР знают о старой России не больше, чем «уроженцы кометы Галлея». Ну, например, что «Москва при царе состояла из одной деревянной матрешки. Потому-то она и сгорела»...

Во время написания «Автографа» Чиннов уже не сомневается, что спор старой и новой эмиграций не приведет к диалогу, и все же: «Я говорил глухому...».

Правда, в переписке двух друзей — Чиннова и Иваска — последний все чаще пишет о новых единомышленниках, которых он встречает среди приезжих, называя их «четвертой волной».

Поэт Николай Моршен (тоже большой мастер звуковой инструментовки стихов, писавший Чиннову: «Очень интересны краезвучия у Вас там, где они используют наряду с рифмой ассонансы и диссонансы. Такого применения их я не могу

\* Русская мысль. 1979. 6 сентября.

вспомнить ни у кого») заметил, что в последней книге у Чиннова появился еще один лирический герой – обыватель\*.

Очень славный, но только легкомысленный («грех легкомыслия», кажется, — главный из его грехов). Он занят своими баранами, живет по принципу «моя хата с краю» — «вдалеке от здешних мест» и кается: «Эх! среда меня заела! И четверг меня заест!»

Нейтронная бомба не тронет меня.  
— Не тронь меня, бомба, — я тихо скажу. —  
Мой Ангел стоит, от печали храня.  
К тому же я занят: я рыбу ужу.

(Почему-то вспоминается советская классика: «Не надо печалиться...») И что хорошего видел в жизни этот рыбовод: «Прощай, моя рыбка, прощай, червячок» — и все? «Маленький человек» в русской литературе всегда трогателен.

Жалко его до слез, с его «не надо бояться. Там вечность и рай». И себя жалко. Но у Чиннова в стихах эмоции сменяют одна другую со скоростью, вполне соответствующей темпу современной жизни:

— О, ехать так ехать, — сказал попугай,  
Когда его кошка — из клетки — за хвост.

Монолог, начатый несколько десятилетий назад, окончен?  
«Современникам или потомкам я не знаю, что сказать?»

\*\*\*

Последнюю свою книгу Чиннов посвятил «памяти матери и отца». Их судьбы, как и судьба всей России, были изломаны трагедией семнадцатого года. Горькое детство, потеря родины, нищета и бесприютность первых лет эмиграции — вот что так хочет забыть Чиннов, любуясь «преlestями земными»,

\* Письмо Н.Н.Моршена к И.В.Чиннову от 16 августа 1985 г.  
ИМЛИ РАН. Отдел рукописей. Ф.614, архив И.В.Чиннова.

посмеиваясь над «прелестями» неземными. Но даже через десятки лет – «никак не забыть тех жалких харчевен, тех русских могил, “когда легковерен и молод я был”», — это написано в Подмосковье в 1992 году.

Стихи, появившиеся после «Автографа», — почти сплошь гротески. И в них часто слышится «русская тема» — фольклор, частушечные напевы, просторечье: «Было давеча, стало нонече. Пляшут ангелы, скинув онучи», «Я к родному ковылю молодцом проковыляю». Мир непонятен, абсурден, несправедлив, жесток. И все же — «пошутим в подлунном мире...»

А в лирических стихах — порой такая грусть. По сдержанности и скупости выразительных средств они напоминают «парижскую ноту»: «Вы говорите, что пора кончать...» или «Ты бы хотела увидеть...» («Я это стихотворение очень люблю», — говорил Чиннов). Но за этой сдержанностью — какая сила чувств, какое жизнелюбие!

Последние из написанных Чинновым строк полны радости жизни и надежды:

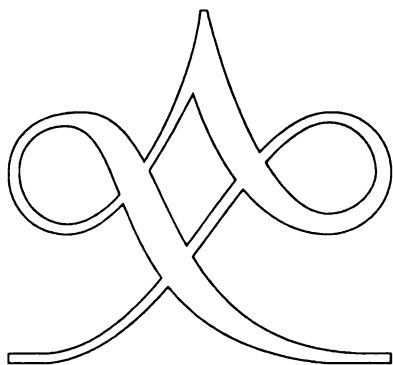
Весной на подмосковную дорогу  
(Всю в лужах, листьях, мокрых воробьях)

Я выйду с палкой. Здравствуйте, березы!  
Скучал без вас. Ах, радостные слезы!  
Еще я жив, я не холодный прах.

Таким я его и вижу. Идет себе, не спеша, по дачной дороге. Белоэмигрант, немецкий военнопленный, член Союза русских писателей и журналистов в Париже, заслуженный американский профессор, русский поэт.

*О.Кузнецова*

# МОНОЛОГ







Неужели не стоило  
Нам родиться на свет,  
Где судьба нам устроила  
Этот смутный рассвет,

Где в синеющем инее  
Эта сетка ветвей —  
Словно тонкие линии  
На ладони твоей,

Где дорожка прибрежная,  
Описав полукруг,  
Словно линия нежная  
Жизни — кончилась вдруг,

И полоска попутная —  
Слабый след на реке —  
Словно линия смутная  
Счастья — там, вдалеке...



К ночи мягче погода,  
Недалеко весна.  
    Над трубой парохода  
    Невысоко — луна.

Дым нежней голубеет,  
Синим кажется мост.  
    Искры легкие реют  
    Где-то около звезд.

Берег уже и тише,  
Тих синеющий сквер.  
    А немного повыше —  
    Скоро музыку сфер  
    Мы, быть может, услышим.



Так посмотришь небрежно,  
И не вспомнится позже  
Этот снег неизбежный,  
Этот светленький дождик.

Незаметно задремлешь,  
И не видеть во сне бы  
Оснеженную землю,  
Светловатое небо.

Это радостный признак,  
Это — счастье, поверьте:  
Равнодушие к жизни  
И предчувствие смерти.



Петух возвещает, чуть свет,  
Что ночь позади;  
Кукушка — что столько-то лет  
Еще впереди.

Куку или кукареку —  
Значенье одно:  
Что сыплется (будь начеку!)  
Струею зерно.

Ты знаешь, есть птица одна,  
Она не поет:  
Лишь время, как семя, она  
Неслышно клюет.



В безветренных полях еще весна.  
Лишь одуванчик легкий облетает.  
И девочка крича бежит. Она  
Его пушок прозрачный собирает.

А под вечер, еще едва видна,  
Растет Луна меж Марсом и Венерой,  
Еще почти прозрачная Луна —  
Как одуванчик светловато-серый.

Давай по-детски верить, что Луна —  
Его душа. Быть может, вновь приснится  
Нам нежная, небесная страна,  
Где даже одуванчик сохранится.



Яснее с каждым годом: да, провал  
Смешных попыток, тягостных стараний.  
Быть может, рок нам счастье обещал,  
Но, кажется, не сдержит обещаний.

Так в незнакомом тесном ресторане  
Вдруг видишь, в зеркалах, просторный зал,  
Идешь — и убеждаешься в обмане:  
Все те же люди, тот же тесный зал  
На ледяной поверхности зеркал.



В Булонский лес заходишь в декабре:  
Деревья в сизом, снежном серебре.

И видишь, в довершение картины,  
Как будто наши, русские рябины —

И чувствуешь, острее с году на год,  
Ту горечь терпкую — холодных ягод.

И рот кривишь. От этого всего —  
Оскомина, и больше ничего.





Шагаешь по мокнущей груди  
Безжизненных листьев, во тьме —  
И вдруг вспоминаешь о людях,  
Погибших тогда, на войне.

И знаешь, что помнить не надо:  
Умершим ничем не помочь.  
И память — как шум листопада  
В глухую осеннюю ночь.



Вот, живешь: суета, нищета.  
Только тщетно считаешь счета,  
Только видишь, что сумма не та;

А умрешь — темнота, немота  
И такая, мой друг, пустота,  
Будто ночью под аркой моста.



Ночью мост рабочие чинили,  
Чтобы мчались по мосту скорей  
Деловитые автомобили  
Важных, обеспеченных людей —  
И другие, всяческих мастей,

Например: тюремный (грузный, зычный,  
Ваше охраняющий добро),  
Или — юркий, беленький — больничный,  
Или — тот, умеренно трагичный,  
Скучный — похоронного бюро.



Кабак, завод, тюрьма, больница  
 И даже — кладбище вблизи.  
 Нет, этот городок не снится,  
 Не чудится. И по грязи

Идут под барабан солдаты  
 (Казарма — за углом сейчас).  
 Они ни в чем не виноваты,  
 Но их убьют. Иль, в добрый час,

Они других убьют. Трезвонит  
 Звонарь над лучшим из миров,  
 И так невозмутимо гонит  
 Хозяин на убой быков.



Немного рыбы и немного соли  
На медленном огне — какая скука!  
Живая рыба корчилась от боли,  
Старуха злилась, плакала от лука,

Над луком, над стручком засохшим перца,  
Багровым, как запекшаяся рана,  
Морщинистым, как маленькое сердце,  
Увядшее у газового крана

От жара, холода и равнодушья:  
Сухое сердце той, худой, убогой,  
Открывшей, словно рыба, от удушья  
Бескровный рот и поминавшей Бога...

А дальше что? Что Бог — благой и кроткий,  
Что грешников поджаривают черти,  
Что в тишине чадит на сковородке  
Немного жизни и немного смерти.



Мальчик бился над задачей,  
 Верил, что найдет ответ,  
 Не мирился с неудачей —  
 А в задаче смысла нет.

От других отнять — и что же?  
 Общий жребий разделить:  
 Состояние умножить,  
 Да и голову сложить...

Уравнений интересных,  
 Мальчик, больше не решай:  
 Слишком много неизвестных —  
 Счастье, истина, душа...

Ничего не надо больше,  
 И не все ль тебе равно,  
 Что поменьше, что побольше,  
 Что равно, чему равно...



— А помнишь детство, синий сумрак, юг,  
Бессонницу и тишину — часами, —  
Когда казалось, будто понял вдруг,  
Почти умея выразить словами —

О чем звезда мерцает до утра,  
О чем вода трепещет ключевая,  
О чем синеют небо и гора,  
О чем шиповник пахнет, расцветая...



## ЧИТАЯ ПУШКИНА

Порой, читая вслух парижским крышам  
Его стихи таинственно-простые,  
В печали, ночью, в дождь — мы видим, слышим  
(В деревне, ночью, осенью, в России):

Живой, знакомый нам, при свечке сальной  
Свои стихи негромко он читает,  
И каждый стих, веселый и печальный,  
Нас так печалит, словно утешает.

И кажется — из царскосельской урны  
Прозрачная, хрустально-ключевая  
Течет струя свободно и небурно,  
Курчавый облак ясно отражая.

И полной грудью мы грустим — но счастьем,  
Как вдохновеньем, безотчетно мудрым  
Наполнен мир, и стоит жить и, настезь  
Открыв окно, дышать парижским утром.





В такой же день, весной, с тобой вдвоем,  
Впервые говоря о нашем общем,  
Мы шли... А после — каждый о своем:  
Я говорил, порой, бессвязно, в общем,

А ты не слушала... Но в смертный час  
В непонятом, в неразделенном, в личном  
Таким ненужным станет все для нас —  
Бессмысленным, бесцельным, безразличным.

И лишь одно на свете — мы вдвоем,  
Совсем одни, совсем одно друг с другом,  
Таким же, как сегодня, теплым днем,  
И радуга непрочным полукругом  
Стоит вдали...



Влюбленные целуются опять  
На влажной от дождя скамейке.  
В косом луче развившаяся прядь  
Свисает в виде смуглой змейки.

С тяжелых роз стекают на ладонь  
Прозрачно-выпуклые слезы.  
В изгибах уха — розовый огонь  
Слегка похож на завязь розы.



Опять подымается ветер,  
Опять лиловеет восток,  
И в сумраке еле заметен  
Летающий опавший листок.

(Листок за листком пролетает.)  
Опять начинает светать,  
Опять мы встаем — и считаем,  
Что все повторится опять.

Опять мы заводим пружину  
Часов на положенный срок,  
Опять мы бросаем в корзину  
Один календарный листок.



Скучная желтеет речка,  
Тусклая намокла рожь.  
Все-таки — ничто не вечно,  
Скоро перестанет дождь.

Мокнут над оврагом избы,  
Никнет над колодцем жердь.  
Что же! Даже этой жизни  
Хуже, хоть немного, смерть.



Наклонись над рекой, погляди:  
Тень твоей головы и груди  
Неподвижна, как если бы в пруд  
Ты гляделся; а воды текут  
Мимо тени, тебя и всего,  
Мимо светлого дня твоего.

Только — сердце боится слегка:  
Есть на свете другая река,  
Уносящая солнечный день,  
И твою мимолетную тень,  
И тебя самого заодно  
На глубокое, темное дно.



В стакане стынет золотистый чай,  
Чаинка видит золотой Китай.

Желтеет чай, как Желтая Река,  
И тает сахар, словно облака.

Кружок лимона солнцем золотым  
Просвечивает сквозь легчайший дым.

Легчайший пар напоминает ей  
Туман прозрачный рисовых полей.

И ложечка серебряным лучом  
Упала в золотистый водоем,

Где плавает чаинка, где Китай,  
Блаженный край, ее недолгий рай.



В углу, над шкафом, от стены  
Кой-где отпала штукатурка,  
И пятна плесени видны.  
А я гляжу и вижу турка  
В высокой феске, на коне,  
Кривой залив, луну над мысом.  
Я пятна на сырой стене  
Каким-то наделяю смыслом.

А в окнах тает полутьма,  
И возникает панорама:  
Там — тучи, площади, дома,  
Зелено-бурый купол храма,  
Пятно расплывчатой зари,  
Сырая празелень и гнилость.  
Всё — пятна плесени. Смотри:  
И штукатурка отвалилась.



Я слышал где-то анекдот:  
 Спешит по делу пешеход  
 Весенним полднем городским.  
 А некто семенит за ним  
 И говорит, неясно, в нос:  
 – Простите. Маленький вопрос:  
 Вы верите, хоть иногда,  
 В загробный мир, скажите, да? –  
 И ждет. И, получив в ответ  
 Слегка рассеянное «нет»,  
 Бормочет грустно: – Очень жалы!  
 И, закрутившись, как спираль,  
 И делаясь совсем сквозным,  
 Рассеивается, как дым.

Ну вот и всё. Ведь если вдруг  
 Ты скажешь, поглядев вокруг,  
 Что ты не веришь в этот мир,  
 Мир не уйдет, как дым, в эфир.





Быть может, в мире всё иначе,  
Быть может, мир совсем другой,  
И всё вокруг не больше значит,  
Чем бред, воображенный мной, —  
И только вихри электронов,  
Как заведенные, кружат,  
И нет ни этих старых кленов,  
Ни девушки, входящей в сад...

Но вот, сейчас, я прижимаю  
Мою щеку к твоей щеке,  
И ты, простая и живая,  
Стоишь со мной, рука в руке.  
Все достоверно, все понятно:  
Желтеют клены, воздух тих,  
А небо — синее, как пятна  
Чернил на пальчиках твоих.



Нам кажется, все ясно, очень просто:  
На уличной скамейке рядом с нами  
Худой старик, замученный работой,  
Сидит, согнув сутуло позвоночник,  
Глядит на заскорузлые ладони.

Не позвоночник, а тростник прибрежный  
Сгибается; не линии ладоней,  
А ветки почернелые деревьев  
(На фоне желтоватого заката)  
Потрескались под градом и под ветром.

Не сердце бьется, а морские волны,  
Не кашель, а раскаты громовые,  
И не озноб, а Млечный Путь проходит  
Насквозь пронизывающей струею.

А может быть, он спит в своей постели,  
С женой бранится иль гниет в могиле.



Трепещут судорожные зарницы,  
И парус падает косым углом,  
И свет и тень, взлетев, упав, как птицы,  
Подрагивают сломанным крылом.

Протрепетал дымок — и вот струею  
Кровавой льется тень от фонарей.  
А по реке проходит дрожь порою,  
И бьется парус (но слабей, слабей).

Как будто чьи-то длинные ресницы  
Еще подергиваются, — пока  
Вослед дымку косая тень ложится,  
Густая тень сочится вдоль виска.



Солнечная зыбь на реке,  
Солнечная рябь на листве.  
Тени от ветвей на песке,  
Стая голубей в синеве.

Рыба сторожит червяка,  
Пестрая сияет река.  
Тень от моего поплавка  
Синью отливает слегка.

Может быть, когда я умру,  
Может быть, тогда я пойму  
Легкую, простую игру —  
Солнце, полусвет, полутьму...



Ночами едет сквозь зыбкий сон  
За тенью клячи — тень телеги,  
И тени ворон со всех сторон  
В лучах луны, в налетевшем снеге.

Как будто душу мою везут  
Из царства теней — в царство теней.  
Змеиную тень бросает кнут,  
Возница сам — не бросает тени...

Быть может, это и наяву  
Меня везут, и страшно ехать,  
И я напрасно тебя зову,  
И голос твой — неживое эхо.



Он тоже один исходил  
Глухие, туманные дали.  
Но если он их разбудил...  
Но если они отвечали...

Но если, меж тихих полей,  
В тревоге, в тоске промедленья,  
Быть может, услышал Орфей  
Ответ, и призыв, и томленье...

И длятся ночные мечты:  
Как будто скала раскололась,  
Как будто услышал и ты  
Дрожащий, надтреснутый голос,

Надрывный, прерывистый звук,  
Призывные, слабые крики...  
Светает. Как тихо вокруг.  
Не жди, не зови Эвридики.



Бывает, поддашься болезни,  
Так долго в больнице лежишь  
И просишь здоровья и жизни,  
И вот, на рассвете, сквозь тишь —

Как будто бы голос далекий  
(Не знаю, не спрашивай — чей)  
Такой отзывается мукой —  
Страшнее больничных ночей...

И скорбью, и болью о мире  
(Ты смотришь, платок теребя)  
Иное, нездешнее горе,  
Как счастьем, пронзает тебя...

О чем ты? — Лицо исказилось,  
И жилка дрожит на губе.  
Напрасно тебе показалось,  
Что кто-то ответил тебе.



Вот, опять вдали кряхтенье  
Жабы. Жабе не до сна.  
Верно, в прежнем воплощенье  
Соловьем была она.

Вот, кряхтит в ночном просторе.  
Непонятна речь ее.  
Иль выплакивает горе,  
Горе личное свое?

Иль про горе мировое  
Наше общее твердит?  
Иль о счастье быть живою  
Как умеет говорит?

Иль, быть может, словно лебедь,  
Плачет, покидая свет?  
Или бредит (как не бредить?)  
Тем, чего на свете нет?





Какой глубокий, неземной покой:  
Улыбка не мелькнет, слеза не брызнет.  
Задумчиво-взыскательной душой  
Она такой хотела быть при жизни.

И я смотрю, какая чистота  
В ее спокойном, строгом совершенстве,  
И кажется, что смерть совсем проста.  
А лоб под венчиком так детски женствен,

Так странно жив. Не тяжело смотреть,  
И пальцы тонкие не страшно трогать.  
Ее черты одушевила смерть,  
Нездешняя, задумчивая строгость.



Стоим, молчим. Неясное мерцанье  
Жемчужной ризы. Плащаница, грусть.  
Быть может, нет ни райского сиянья,  
Ни ада, ни чистилища (и пусть...).

Такой неясный Лик, неяркий венчик —  
Но я живу совсем другой мечтой:  
Сулит другое светло-серый жемчуг,  
Мерцающая серебристой чистотой.

Там будет утро, и роса, и слизи  
На влажных листьях, серебристый дождь,  
Туманный свет — нежней, чем в этой жизни —  
Мерцающих, полупрозрачных рощ...



Этот мир, тускловатый и тленный,  
Этот город и эта зима —  
Только тени на стеклах вселенной,  
Светотень в мировом синема.  
Это — светом прикинулась тьма.

Но неважно. Важней, что порою  
Мы, глаза прикрывая рукою  
И впадая почти в забвенье,  
Вспоминаем и видим другое,  
Необманчивое бытие.



Снова тот же ветер веет.  
Да, опять начало мая.  
Только – сердце вдруг мертвеет,  
Что-то смутно понимая.

Снова та же птица реет.  
Что там, в небе? Жизнь иная?  
И душа на миг стареет,  
Что-то смутно вспоминая...



Порой замрет, сожмется сердце,  
И мысли — те же всё и те:  
О черной яме, «мирной смерти»,  
О темноте и немоте.

И странно: смутный, тайный признак —  
Какой-то луч, какой-то звук —  
Нездешней, невозможной жизни  
Почти улавливаешь вдруг...



Медленно меркнет мой путь.  
Боли не выскажу людям.  
Боже, я петь не могу,  
Сердце смолкает мое.

Счастье мерцало и мне —  
Канула капля слепая.  
Слабая мгла глубока,  
Рано — Смеркается — Смерть.



Быть может... (Неясные звезды,  
Туманный, мерцающий свет.)  
Быть может, ты все же услышишь  
Когда-нибудь чей-то ответ:

На смутную жалобу эту,  
На грусть (ни о чем, обо всем), —  
Ответ, непонятно далекий,  
В холодном тумане ночном.



Какой неудержимый ливень!  
Закрой окно. Темнеет день.  
Сильнее, шире и бурливей  
Кренится за стеклом сирень.

Уже кончается, скудеет  
(Вся жизнь так грустно-коротка),  
И капли на стекле редуют,  
От сумрачного ветерка

Неудержимо исчезают.  
Теперь, когда их больше нет,  
Теперь — яснее проступает  
За ними этот слабый свет.



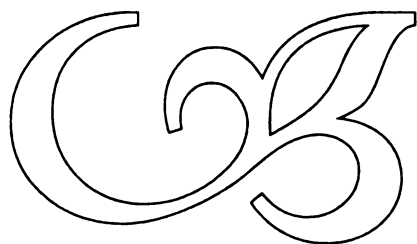


Озаренное небо, и птицы летят.  
Что я знаю — о жизни, о смерти, о Боге?  
Что мы знаем? — Я помню такой же закат.  
Помню палубу, даль, словно берег пологий...

С нами ехал ребенок, печальный, слепой  
От рожденья, с бесстрашьем в невидящем взоре,  
Чутко слушал... Как смутно шумит за кормой  
Голубое, слепому незримое море...



ЛИНИИ



**На линии жизни, на линии счастья.**

***Игорь Чиннов***

К луне стремится, обрываясь,  
Фонтан — как в бурю кипарис,  
Когда луна — почти живая.

Озера то, иль острова,  
Иль облака, иль птичья стая?  
Фонтан, фантазия, каприз.

Сквозь лунное очарованье  
Кровать плывет, куда хочу —  
По блеску крыш, как по ручью.

Полоски дыма там, вдали —  
Как оснеженные тропинки,  
И мы гулять по ним пошли —

И говорили без запинки  
Ночными странными стихами,  
И долго звуки не стихали,  
Уже неслышные с земли.



Дáли как будто во льду.  
Ветер даже дубы оголяет.  
Вслед за последним лучом  
Медленно меркнут поля.

Веток не рвут на ходу  
Те, кто осенью в роще гуляет.  
Ветки висят под дождем,  
Мертвой листвой шевеля.

Зыбь серебрится в пруду.  
Помечтай, будто в водах бесцветных  
Ветки деревьев иных  
Сыплют невянуший цвет,

Будто в незримом саду  
Расцветают нездешние ветки,  
Вечно мерцает сквозь них  
Нежный немеркнущий свет.



– Дымящие трубы,  
На пристани уголь и щебень.  
– Прозрачное небо  
И птичий серебряный щебет.

– Дым черен и горек,  
Безрадостен серенький берег.  
– Луч нежен и ярок,  
И бабочка села на вереск.

– Разломаны бурей  
Две лодки на отмели серой.  
– Лазурное море  
Покойно, и солнечен берег.

– Засохший кустарник  
И кладбища — взглядом не смерить.  
– И светлый бессмертник,  
Сияние жизни и смерти.



Что ж — думающие машины  
Заменят нас — а мы пойдем  
Смотреть на лилии долины  
Под нежно-солнечным дождем.

Забыты темные заботы,  
Природа ангельски чиста.  
Как лепестки, две легких ноты  
Упали с белого куста.

Синеют птицы, расцветая,  
И кажется, цветы слышны.  
И слился с пением и стаей  
Глубокий отзвук тишины.

И так прозрачно-своевольно,  
Так беззаботно, так шутя,  
И просто, и совсем не больно...

(Я размечтался, как дитя.)



Жил да был Иван Иванович:  
 Иногда крестился на ночь,  
 Вдаль рассеянно глядел.  
 Жил на свете, как умел.  
 Жил на свете как попало.  
 Много в жизни было дел.

Сердце слабое устало,  
 Сердце биться перестало.  
 В небе дождь вздыхал, шумел,  
 Будто мертвого жалел:  
 Влаги пролилось немало —

Видно, смерть сама рыдала,  
 Близко к сердцу принимала  
 Человеческий удел.





Вечный образ: счастье — ветер в поле,  
Дым, растрепанный дождем.  
Мы живем в заботе, страхе, боли;  
«Человек для слез рожден».

На кого надеяться? На эти  
Грозовые облака?  
На глухое небо в смутном свете?  
На лучи издалека?

На мерцанье над ночной дорогой,  
По которой мы во мгле пройдем?  
И в ответ — молчанье, да немного  
Погрохочет гром.



А может быть, все же — спасибо за это:  
За нежность туманно-жемчужного света,  
За свежесть дождем всколыхнутого сада,  
За первые знаки — уже — листопада.

Спасибо, что облако меркнет и тает  
Над этой в закат улетающей стаей,  
И розовый свет приближается к морю...  
Ну что же, спасибо. Да разве я спорю...



«Если завтра война»... Накануне войны,  
Накануне беды и тоски  
Поглядим на сиянье волны  
И на трепет звезды.

Поглядим, как яркие  
Отцветающие цветники  
И как нежно летят светляки,  
Будто искры, упавшие с легкой звезды.

Поглядим, как роса,  
Перед тем как исчезнуть, светла,  
Как блестящая капля спадает с весла,  
Будто гаснет звезда.

Поглядим, если завтра война,  
Как сегодня погода прозрачно ясна,  
Поглядим — в этом мире беды и тоски —  
На сияющие пустяки.



О мировом безобразии  
 Лучше совсем умолчим.  
 Скажем про нежную празелень  
 Ночи, сходящей на Рим,

Про голубое мерцание  
 Осеребренных олив  
 (Ночь, тишина мироздания,  
 Будто далекий прилив).

Ночь, голубая пришелица,  
 Скажем и мы про нее  
 (Полное лунного шелеста,  
 Дремлет легко бытие).

И, не боясь повторения  
 И не ища новизны,  
 Скажем про синее пение  
 Вновь наступившей весны.



Он мерзнет в воротах парка,  
Просит на рюмку  
И греет облачком пара  
Худую руку.

От снега намокли ветки.  
Ветер — сильнее:  
Краснее мокрые веки,  
А рот синее.

О нет — без надрыва, просто:  
Слезы — от ветра...  
Никто не слышит вопроса,  
И нет ответа.



Ты опять возмушался?  
 Ты опять восхищался?  
 Погляди холоднее  
 На людей и аллеи.

На торговца-уродца,  
 На цвета винограда,  
 На канаву, где льется  
 Солнце, грязь и прохлада.

Понемногу истрачен  
 День приятно ненужный,  
 И как будто прозрачен  
 Вечер тускло-жемчужный.

Это вспомнится позже?  
 Запад чуть серебрится.  
 ...С этим отблеском тоже  
 Мне придется проститься.



Да, траурная колесница  
Иль в этом роде. Вот, опять  
Кольнуло в сердце. Помолиться,  
Приободриться, помечтать

О том, что там (ты веришь?) будет  
Эдем, блаженство, торжество...  
Скажи, там ничего не будет?  
Совсем не будет ничего?



Ни работы,  
Ни заботы —  
Ни тоски, ни суеты:  
Только лилии долины,  
Только горные вершины,  
Только птицы и цветы.

Хорошо бы стать закатом,  
Летним небом розоватым —  
Вот о чем мои мечты:

Знаю, каждый бы охотно  
Жил прозрачно-беззаботно,  
Жил сияюще-легко,  
Так заоблачно-свободно,  
Так небесно-широко.





Палочка мерно взлетает:  
Музыка, стройно звени!  
Нотные знаки не знают,  
Что означают они.

В линиях нотной страницы  
Ты, и другие, и я.  
Только — недолго продлится  
Нежная нота твоя.

В срок прозвучала в концерте —  
И обрывается нить.  
Замысла жизни и смерти  
Нам не дано изменить.

...Или бессмысленно в мире  
Все — и впустую трезвон?..  
Так в опустелой квартире  
Ночью звонит телефон.



Голод в Индии, голод в Китае,  
То, что в нашей России.  
Я спокойно газету читаю,  
Я смеюсь без усилий.

Чем-то страшным, тюремно-больничным  
Пахнет, друг, мирозданье.  
Что же делать, раз так безразличны  
Богу наши страдания.

...Или небо вечернее, цвета  
Бирюзы, сквозь березы —  
Это все же обрывок ответа  
На молитвы и слезы?



Терновник веткой суховатою  
Под знойным ветром чуть качает.  
Мне тень колюче-узловатая  
Другую тень напоминает.

Мне чудятся снега в сиянии  
Полярной ночи, в лунном свете.  
Как будто слышно дребезжание  
Колючей проволоки... Ветер...

Ночь навсегда, ночь не кончается,  
И тень от проволоки длинной  
Колючей веткою качается  
Под ветром на земле пустынной.



О Воркуте, о Венгрии (— о чем?)  
 О Дáхау и Хирошиме...  
 Да, надо бы — как огненным мечом,  
 Стихами грозными, большими.

Ты думаешь о рифмах — пустяках,  
 Ты душу изливаешь — вкратце,  
 Но на двадцатый век тебе в стихах  
 Не удастся отозваться.

И если отзовешься — лишний труд:  
 Не будет отзвука на отзвук.  
 Стихи, стихи — их даже не прочтут.  
 Так пар уходит в зимний воздух.

И все-таки — хотя десятком строк,  
 Словами нужными, живыми...  
 Ты помнишь, есть у Пушкина «Пророк»:  
 О шестикрылом серафиме.



Был веселый, живой соловей,  
А теперь — заводного мертвей.  
Впрочем, нет, чуть живей: от червей.

Он лежит и гниет, как навоз,  
Под кустом отцветающих роз,  
И роса на кусте — вроде слез.

Слезы скоро просушит мороз.

В том, что вечного нет ничего,  
Тоже нового нет ничего.



Каждый сгниет (и гниением очистится)...  
Тем и закончится злая бессмыслица —

Хлопоты, горести, почести, прибыли,  
Крик перед смертью, что денежки стибрили.

Вот вам гармония, вот Провидение:  
«Смерть несомненна» (чего несомненнее).

Странно, что все же могу утешаться я,  
Глядя, как вновь зацветает акация,

Глядя, как бабочка треплется, мечется —  
Тоже, пожалуй, сестра человечества.



Так отвратительно-неотвратимо:  
Иссохнет, исхудает, истончится  
Твое лицо (и кто придет проститься?) —

И маленькою, бедною струею  
Растает в небе дым неудержимый,  
Далекий дым, который был тобою.

Пускай дорога пролегает небом,  
Как зимним садом или полем выюжным,  
И мертвый сон кружится легким снегом.

Пускай бы там тебе порой казалось,  
Что память о стихах твоих — осталась,  
Что ты кому-то стал своим и нужным,  
Что ты кому-то стал вином и хлебом.

Пускай живет игра воображенья —  
Сквозь темноту, сквозь вечное забвенья.



Ни добрых дел, ни твердой веры нет:  
 Не занят я, душа, твоим спасеньем.  
 Чем заслужу его? Стихами? Нет:  
 Стихи не жгли сердца, лишь были мне  
 Полузабавой и – полумученьем.

Что будет? – Смерть (в тоске, во зле, в грехах)  
 И в Судный день, меж пеньем и стенаньем –  
 Рифмованные строки на весах:  
 Полуупреком, полуоправданьем.  
 Игра вничью меж мраком и сияньем.





Станет вновь светло, станет вновь темно.  
Мне почти, почти все равно.

Каждый день закат, каждый день рассвет.  
Только счастья нет и нет.

Но совсем перед смертью, может быть,  
Станет жалко навек забыть,

Как светил прозрачный луч в окно,  
Озаряя хлеб и вино,

Как темнело, как нежно лампа зажглась,  
И дрова розовели, светясь.



Полугрусть предосеннего шелеста,  
Но в закате над серым Ассизи  
Озаренное облако светится  
Обещаньем заоблачной жизни —

И становится в мире печальнее,  
Хоть лучи не совсем догорели,  
И под ветром плывет обещание  
В холодеющие эмпиреи.



Что-то вроде России,  
Что-то вроде печали...  
(Мы о большем просили,  
А потом перестали.)

Чем-то нежным и русским  
Пахнет поле гречихи.  
Утешением грустным  
День становится тихий.

Пахнет чуть кисловато  
Бузина у колодца...  
Это было когда-то  
И едва ли вернется.



То, что было утешением,  
Перестало утешать.  
Но порою, тем не менее,  
Развлекаюсь я опять.

Развлекаюсь грубым холодом,  
Жестким ветром, мутным днем,  
Развлекаюсь скучным городом —  
И проходит день за днем.

Не в России, так в Германии.  
Вот гуляю вдоль реки,  
Развлекаюсь сочетанием  
Равнодушья и тоски.



Ивы, ясени, клены, осины,  
То журчащий, то шепчущий сад.  
Золотые летят паутины  
Так бесплотно, как звуки летят.

И прощально в листве  
Золотится  
Луч, как солнцем пронизанный ствол,  
И за лодкой плывет вереница  
Золотых лепестков — и прошел  
Нежитейский, сияющий трепет,  
Золотисто-тускнеющий лепет  
По блаженно-осенней листве.



Помнишь о ветре,  
 Бившем деревья?  
 В старости сердце  
 Помнит сравненья

С вечером тусклым,  
 С инеем в рощах,  
 С шорохом грустным  
 Веток отсохших.

Скучно повисли  
 Мертвые ветви.  
 Мúка при жизни,  
 Скука по смерти.

Так что, наверно,  
 Даже нестрашным  
 Было б горенье  
 В пламени красном.



Легко на эту нежную руку  
Сели снежинки.  
Быть может, эти снежинки – души  
Пчел нерожденных.

И помню, как ты однажды в церкви  
Свечу держала,  
Под острым листком огня сочились  
Капельки воска.

Я знаю, мед янтарем не станет,  
Он ненадолго.  
Я знаю, эти стихи растают,  
Будто снежинки.



Колоколом утомительным,  
Маятником изнурительным,  
Музыкою обреченности  
Кажется тоска бессонницы.

Сад забормотал осенние  
Призрачные утешения.  
Смешивается молчание  
С музыкой воспоминания,

С признаками вдохновения,  
С призраками в отдалении,  
С прошлым полувоскресающим,  
С небом полурассветающим...





Знаешь, я почти забыл  
Тот неясный зимний вечер,  
Начало ночи, неслышный ветер,  
Мокрый мостик без перил.

Я уже почти забыл  
Тонкий профиль нежно-светлый,  
Комочек снега, упавший с ветки,  
Снег, что вдалеке светил.

То, что я сказать забыл,  
Поцелуй слегка соленый  
(Деревья пахли сырой соломой).  
...Я почти, почти забыл.



Я все еще помню Балтийское море,  
 Последние дни перед вечной потерей.  
 И кружатся звуки, прозрачная стая,  
 Прощаясь, печалюсь, печально играя.

Мы берегом светлым вдвоем проходили,  
 Вода на песке становилась сияньем  
 И ясные волны к ногам подбегали,  
 Прощаясь прохладным, прозрачным касаньем.

О, если б тогда, посяяв на прощанье,  
 Летейскими стали балтийские волны!  
 О, если бы стал неподвижно-безмолвный  
 Закат над заливом завесой забвенья.

А впрочем, я реже, смутней вспоминаю.  
 Журчанье беспамятства громче и слаще.  
 И звуки теней над померкшей водою  
 Лишь шепот. Лишь шелест.

Лишь шорох шуршащий.



Сияли лампы, был прозрачный свет,  
Лишь в окнах пустота чернела.  
И свет погас — и ничего уж нет,  
Лишь воздух черный — без предела.

Но я гляжу на темный мир ночной,  
И кажется — светлее стало,  
И дерево, угаданное мной,  
Вдруг сдержанно затрепетало.

И я увидел в небе дымный след,  
Кончающийся невысоко,  
И смутный очерк туч, и звездный свет,  
Туманный, голубой, далекий.



Может быть, только в этой  
Жизни — бывает лето,  
Только на этом свете  
Этот приморский ветер,

Только на эту землю  
Дерево сыплет семя,  
От синеватой птицы  
Нежная тень ложится.

Да, но зачем порою  
Этого все же мало?  
Небо опять другое  
Над городским каналом.

Он отражает ветви,  
Тучу и даже ветер,  
Да, но чего-то все же  
Он отразить не может.



Мы были в России — на юге, в июле,  
И раненый бился в горячем вагоне,  
И в поле нашли мы две светлые пули —  
Как желуди, ты их несла на ладони —  
На линии жизни, на линии счастья.

На камне две ящерицы промелькнули,  
Какой-то убитый лежал, будто спящий.

Военное время, горячее поле,  
Россия... Я все позабыл — так спокойней,  
Здесь сад — и глубокое озеро подле.

Но если случайно, сквозь тень и прохладу,  
Два желудя мальчик несет на ладони,  
Опять — южнорусский июль на исходе,  
И, будто по озеру или по саду,  
Тревожная зыбь по забвенью проходит.



Вновь перисто небо — да, белоснежность —  
Как облачное крыло.

«В том царстве царствовала Беспечность,  
И было всегда светло».

Да, если бы — вечным, светлым пеньем  
(Пошли нам легкий удел!), —  
Но остров Цитера засыпан пеплом,  
Воздушный замок сгорел.

Воздушный замок прахом развеян  
(Летает сера, зола),  
И все слабее среди развалин  
Свет облачного крыла.



Хмуро и виновато  
Туча глядит на слякоть  
(Солнце ушло куда-то,  
Чтоб не мешать ей плакать).

Плачет, глядясь в болото,  
Смесью дождя и снега.  
Все-таки, значит, кто-то  
Смотрит на землю с неба:

Все-таки, значит, кто-то  
(Хмуро и виновато) –  
Будто людей жалея,  
Будто помочь желая...



Угрюмая тень  
 Становится отблеском света.  
 Меж тенью и отблеском  
 Сходство почувствовал ты?

В тяжелых дровах  
 Таилось легчайшее пламя.  
 Быть может, и правда,  
 Что в теле тaitся душа.

Быть может, и жизнь  
 Прозрачным бессмертием станет,  
 И уголь — алмазом,  
 И сгусток смолы — янтарем.

...И тени людей,  
 Как тени предметов, мечтают  
 Стать отблеском светлым —  
 Сияющей тенью огня.





Смутный сумрак спальни жаркой.  
Каркнул ворон в темном парке.  
Сердце в тишине стучит,  
Словно прялка старой парки.  
Парка быстро нить сучит.

Знаю, пряжа на исходе.  
Скучно при такой погоде  
Слушать торопливый стук.  
Дождь идет, темно вокруг.

И грызут проворно мыши  
Жизнь, дарованную свыше,  
И недолго ждать

Дня, когда не станет скуки  
И навек затихнут звуки,  
Что мешали спать.



И наше в ручье отражение,  
 И пальцы в цветочной пыли,  
 Почти золотистые тени  
 На грустно-счастливом лице...

Осенне прозрачно... Как часто я  
 Вдруг чувствовал (с болью — и пусть),  
 Что самое светлое счастье  
 Похоже на светлую грусть.

Да, это, пожалуй, предчувствие  
 Бессмертия — счастья вполне,  
 Нездешней, несбыточной грусти,  
 В которую верится мне.



Знакомое зло, привычное зло  
(А все-таки нет войны).  
Осеннее призрачное тепло  
Милее тепла весны.

Предзимнее солнце, приморский шум  
(А Ницца тиха, светла),  
И волны шуршат: шурум-бурум,  
Все пена, песок, зола.

Догорает, да, но кажется нам,  
Закат — начало пути.  
Уходит свет, скользя по волнам.  
Помедлить или уйти?



Острый угол подушки –  
 Как больное крыло.  
 Ты – как птица в ловушке,  
 Как на суше весло.

Небо в пене, как море,  
 Дым, как волны, бурлит.  
 Крест на лунном соборе –  
 Словно чайка летит.

Ты уже не в постели,  
 Ты в широком окне:  
 Легкость лунная в теле,  
 Тень крыла на волне.

Ты летишь над аллеей,  
 Прямо в лунный прибой,  
 Все смутнее белея  
 В глубине голубой.



Тысячу лет тому назад  
Тоже был Рим в тускнеющем свете,  
Тоже был дождь, закат, листопад.

Все-таки есть новинки на свете:  
Дождь пролетел, тускнея тоскливо —  
Сколько принес он атомной гари?  
Дымный закат — как зарево взрыва  
(Взрыва в Сибири? Взрыва в Сахаре?).

Всходит Луна, совсем по старинке.  
Там, на Луне, есть Море Покоя.  
Там, на Луне, есть тоже новинки.  
Скажи, и ты хотел бы покоя?



Скажи, что случилось с миром?  
 Как будто рисует дождь  
 Неясным, нежным пунктиром  
 На старом — новый чертеж.

Ты скажешь: всё как всегда.  
 Все те же дома напротив,  
 И так же течет вода.

— Не всё как всегда. Напротив:  
 Сквозь буквы торговых фирм,  
 Сквозь дождь, сквозь дома Парижа,  
 Сквозь весь непрозрачный мир —  
 Другой рисунок я вижу.  
 Другие линии в нем,  
 И краски тоже другие.  
 Но проблески неземные  
 Так трудно видеть в земном.



В снежный вечер Млечный Путь походит  
На дорогу нежную в раю.  
Ты забыла все, что происходит  
В вышине, во сне, в раю?

Погляди: прозрачна мостовая,  
Мы идем, в эфире, в легкий путь.  
Светится Луна, не затмевая  
Нежный, бледный Млечный Путь.

Вот лунатик в синеве проходит,  
Встал на тучу, дремлет на краю.  
Он пришелец, но слегка походит  
На живущих в том краю.

Под ногами улица ночная,  
Снежный свет, полузнакомый путь.  
Чуть предчувствуя, чуть вспоминая,  
Ты глядишь на Млечный Путь.



На каменном крыльце чужого дома  
 Бродяга пьяный разложил свой завтрак,  
 Весь в блеске солнца, — и разбил бутылку,  
 И разлилось вино, мешаясь с грязью,  
 По серому асфальту. И тогда

Он быстро опустился на колени,  
 Припал ничком — и начал пить из лужи,  
 Слегка блестящей темноватым блеском,  
 И солнце нежно золотило лица  
 Торговок, насмежавшихся над ним.

Да, на коленях, как библейский странник,  
 Бездомный, пересохшими губами  
 Целуя грязь земли обетованной,  
 Как блудный сын, беспутный и прощенный,  
 Прижав лицо к сандалиям отца...





Мое святое ремесло.

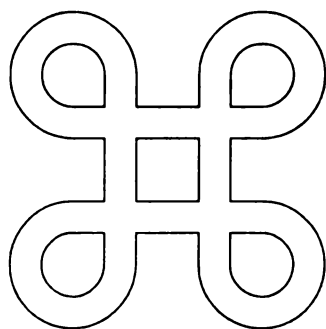
*Каролина Павлова*

Пожалуй, и не надо одобрения,  
И ободрения не надо.  
Ни обещания, ни исполнения  
Желаний, обещаний. Надо  
Стараться обойтись без утешения.

Пора не жаловаться, не надеяться  
(Судьба шутила, обещая...).  
Пора стихам, как дыму, дать развеяться  
(Перелистают не читая).  
Пора понять, что не на что надеяться.



# МЕТАФОРЫ



*Памяти моего отца*

Здесь пахнет лазурью, ты знаешь?

Здесь пахнет лазурью.

И струи фонтана трепещут эоловой арфой.

И пышным огнем золотится петух, запевая,

И пестрый базар не стихает в полуденном свете.

И кажутся музыкой смутной далекие горы,

И в детских губах леденец золотистой свирелью.

На старой стене расплескалась волна винограда,

И в пыльном пылании выются песчинки бессмертья.

И в светлом звучанье текут золотистые груды

Июльского воздуха, нежного смуглого лета.

Огромные груды сиянья, громады лазури.

Смотри — половодье лазури, и горы как волны.

*Альпы*

*1960*



Прямо на тротуаре  
валяется пятно света,  
круглое,  
похожее на золотое блюдо.

И рядом лежит  
пятно нефти,  
отливая зеленым и синим,  
как пышный персидский павлин.

Разноцветные крылья белья  
(на веревках через всю улицу)  
— розовые, оранжевые, сиреневые —  
как большие цветы  
висячих садов  
Семирамиды.

*Италия*

1961



Холодеет душа, и близится сумрак.  
 И всё, как тень над водами Леты.  
 Но хочется, хочется чистых звуков  
 Волшебной скрипки, волшебной флейты.

Ну что, Пегас, смешная лошадка,  
 Ты нас научишь в день пасмурно зыбкий  
 Легко летать, как люди Шагала,  
 Играть на букете, как на скрипке?

И от нежных звуков мы подобраем,  
 Простим разбойника и убийцу.  
 Поэт, попробуй стать чародеем,  
 Чтоб день превратился в райскую птицу.

*Колорадо*  
 1965



Слушая розовый сумрак смуглых ладоней,  
Теплую музыку раковин нежно пахучих,  
Маленьким розовым ухом прильнув поудобней,  
Все повторяя, как волны, — «голубчик, голубчик...».

Слыша почти, что снежинки, светлая стая,  
Снова слетаются, ночь Рождеством наполняют.  
Глядя на розовый шорох в широком камине,  
Видя ночное молчанье улицы зимней...

Слушая грудь, где бормочут счастье и жалость,  
Слыша жасминовый запах снежинки холодной,  
Точно в мелодию летней реки, погружаясь  
В тихий и розовый сумрак смуглых ладоней...

*Канзас*  
1965



Давайте жить не по часам,  
а по листьям:  
слушать весну, когда они зеленеют,  
думать о грустном, когда они желтеют,  
  
мечтать, когда они опадают,  
молчать, когда на опустелых ветках белеет иней, —  
и менять, когда захочется, времена года.

*Нью-Йорк*  
1963





Ясный осенний вечер,  
ты светлая раковина,  
прохладная раковина,  
девичьей белой рукой  
ты взят из нежной воды.

Почему ты тускнеешь?  
Снова сияет вдали  
над бедной деревней  
огненный пурпур.

Знаешь, пора превратить  
земные грязные язвы  
в нежные розы.

*Канзас*  
1965



Позабудь о грязи и о безобразии,  
 Позабудь о вечном зле.  
 Говори о ледяном алмазе и  
 Белой розе в голубом стекле.

Позабудь о всех страданиях, мучениях,  
 Расскажи, как вечер тих,  
 Говори о нежных обольщениях,  
 Украшениях земных.

Только так родится чистая поэзия,  
 Как мерцающая в никуда,  
 Нет, не путеводная, нет, не полезная,  
 Но блаженно-нежная звезда.

Все равно ведь — и другой поэзией  
 Больше ничего не изменить,  
 И тупое обрывает лезвие  
 Нежную, страдающую нить.

*Канзас*  
 1963



Выдумываешь утешения,  
И кажется при свете месяца,  
Что началось преображение,  
Что все сейчас, сейчас изменится —

Не станет логики и алгебры  
(О, беспричинное сияние!),  
Не станет этой вечной каторги  
Глухих законов мироздания —

И мир, свободный от инерции,  
От тяжести, от тяготения,  
Войдет в блаженное бессмертие,  
В сияние, во вдохновение...

Разыгрывается воображение.

*Мюнхен*  
1962



Беспмятство мира, наплыв забытья и забвенья,  
 Бессонница сердца, скажи, почему нам не спится?  
 Но Данте вернулся из вечного царства молчанья,  
 И пела Орфею, негромко, нездешняя птица.

Уже затихала невнятная музыка ночи,  
 Уже уходила с печальной земли Персефона.  
 Я знаю, что нет Персефоны — и нет Беатриче,  
 И нет Эвридики — и призрачных стен Илиона.

Не все ли равно, помечтаем о чем-нибудь странном,  
 О чем-то бессмысленном и навсегда невозможном —  
 Под музыку сфер, в побледневшем сиянии лунном,  
 Беспечно, бездумно, в молчанье уже не тревожном.

*Зальцбург*  
 1962



Тот белый — горный — пенистый ручей  
(Как будто снег лежал в ложбине),  
И дерево в цвету еще белей —  
Как облако на светлой сини.

Я слушал облака, я слушал, как вдали  
Синели, пенясь, водопады.  
Мне облака забыться помогли  
Далекой музыкой прохлады.

*Парма*  
1961



Прости мне те лунные, снежные, синие горы,  
Прости мне рассвет над осенним безветренным Римом.  
Прости мне тех мраморных нимф, благосклонных к  
любым,  
И эти гобои, и флейты, и эти повторы.

Прости мне глоток ледяной золотистого чаю  
И несколько роз, опаленных сияющим зноем,  
Немного халвы, лепесток, загнивающий с краю, —  
Прости мне все это, я знаю, что я недостойн.

*Копенгаген*

1961



Одним забавы, другим заботы. Затем забвенье.  
Да, жисть-жестянка, да, жисть-копейка, судьба-индейка.  
Да, холод-голод. Не радость старость. (И ночь, и осень.)

И пыльный свиток, печальный список шуршит так сухо,  
И совесть-повесть стучится глухо ночным дождем.  
Ночные тени лежат в больницах, окопах, тюрьмах.

Над горем мира, над миром горя лишь ветер ночи.

*Гонолулу*  
1965



О душа, ты наполнишься осенним огнем,  
Морем вечереющим ты полна.  
Души-то бессмертны, а мы умрем —  
Ты бы пожалела слегка меня.

Смотришь, как качается след весла,  
Как меняется нежно цвет воды.  
Посмотри — ложится синяя мгла,  
Посмотри, как тихо — и нет звезды.

Хоть бы рассказала ты мне хоть раз,  
Как сияет вечно музыка сфер,  
Как переливаясь, огнем струясь,  
Голубеют звуки ангельских лир.

*Канзас*

1963





Человек... мыслящий тростник.

*Блез Паскаль*

Я помню пшеницу, ронявшую зерна,  
На пыльной бахче дозревавшие дыни.  
Я помню подсолнечник, желтый и черный,  
И краски настурций, герани, глициний.

Я помню оливы (в Провансе? в Тоскане?),  
Я помню — над Рейном поля зеленели.  
И яблони помню (тогда, на Кубани...),  
И в Дании поле. Ответь, неужели

Пшеница падет под ударами градин,  
И черные кони помчатся, оскалясь,  
И будет растоптан земной виноградник,  
Растоптан тростник неразумный Паскаля?

*Канзас*

*1963*



Там, куда прилетят космонавты,  
Там не будет весенней сирени,  
Там не будет осенней брусники.

Ни черники, запачкавшей руки,  
Ни сереющей вербы в стакане  
(Зайчик солнца и зайчики вербы).

Золотое Руно аргонавты  
Непременно найдут, я уверен,  
В синеватых долинах Венеры.

Но не будет на дальней планете  
Ни веселого лая собаки,  
Ни окна в голубом полумраке,  
Ни грачей на сыром огороде...

*Канзас*  
1964



Ты уже забываешь,  
ты скоро забудешь  
(в огромном райском сиянии),  
но ты еще помнишь  
толчею предвечерних мошек  
и блеск паутины  
на сохлом терновнике.  
Ты помнишь  
зеленый мох между ржавых банок,  
а после — осень,  
неровный полет  
одичалых клочков бумаги  
и черные щепки  
в дрожанье тусклой реки.  
Ты помнишь холод,  
первый иней на ржавом  
почтовом ящике,  
свет на безлюдном мосту.  
Как быстро летела,  
погасая, твоя папироса  
в ночные беззвучные струи...

*Стокгольм*  
1961



Слетают желтоватые пушинки  
 Пленительного липового цвета  
 (На души наши, душеньки, душонки),  
 Как золотые райские снежинки.

А после — листья полетят, желтея  
 (Так огненные языки сходили  
 Когда-то на апостолов). Но это  
 Не скоро, через двадцать две недели.

А в парке есть кафе, и рюмка рома,  
 Как золотая лилия, блистает,  
 И над горячим золотистым чаем  
 Колеблется немного фимиама.

А озеро озарено осанной,  
 В нем серебрятся рыбы, ветки рая.  
 Как нежно ветер воздухом играет,  
 Как шевелит немеркнувшей осинной.

*Мюнхен*  
 1961



А если все-таки — война?  
А если — не минует чаша?  
Ночь выжидательно темна,  
И черный сад — как злая чаша.  
(А Гефсиманский сад — шумел?)

И странный, тихий спор (ты слышал?):

— Как много надо искупить...  
— Как беззащитно спят и дышат...  
— Непрочный мир непрочных дел...

— Да, всё, как тоненькая нить,  
Но если есть Христос, тогда ведь  
Он может — правда? — охранить,  
Спасти, остановить, исправить?

— Оставь, не знаю, может быть...

*Гаваи*  
1965



Тени войны на замерзшей дороге. Уже  
их не видно. Пустые пещеры ночи. Ледяные  
водопады ночной темноты. Черные  
лавины безмолвия. Безлюдные  
каменоломни печали.

Я заблудился  
среди ночных сталагмитов  
моего одиночества.

И клочья дыма  
спят, как летучие мыши,  
в обугленных трещинах мира.

*Канзас*

*1964*



В газете пишут  
о войне и о смерти,  
но мальчик лет пяти  
из этой газеты  
сделал кораблик,  
плывущий по озеру.

Может быть, если б умел,  
он сделал бы  
настоящую бабочку, настоящее облако?

Важно, что все же  
он сделал кораблик,  
сделал из вести о страшном,  
почти как поэт — стихи.

Стихи ведь тоже  
вроде летучей игрушки,  
даже если в них  
говорится о смерти,  
о горе и смерти —  
не правда ли?

*Канзас*  
1964



На обугленной стене  
 Копоть, будто черный иней.  
 Песок остывший, пепел синий,  
 Темный дым и тень в окне.

Черный дым и черный дом,  
 Дымный дождь золу смывает.  
 Холодным ветром, ночным трамваем  
 Прозвени, чужой Содом.

Всё в холодной саже тьмы,  
 Сожжено, оледенело.  
 Рисунок углем, почти без мела, —  
 Как пейзаж и той зимы.

Той — на русском берегу...  
 Пепелище, погорельцы.  
 И воздух жесткий, как будто тельце  
 Мертвой ласточки в снегу.

*Чикаго*  
 1962





Земное гноище —  
Огромным пожарищем?  
Ну что ж: пепелище  
Нам станет пристанищем.

И будет на свете  
Ни ад, ни чистилище,  
А попросту — кладбище,  
Скучное зрелище.

И будут лежать,  
Как под райскими кущами,  
Товарищи-братья,  
Богатые с нищими.

*Мексика*

1964



Страшные где-то галактики,  
 Страшные звезды вселенной...  
 В парке бродяги горланили,  
 Пели (грустней, веселее...).

Был полон печалью осени  
 Весь парк (и липы, и клены).  
 Над ним разлетались в космосе  
 Фонтаны фотонов, волны.

Что ж, космос, накручивай эллипсы,  
 Вдаль улетай по спирали...  
 Полны надышанной прелести  
 Наши земные печали,  
 Точно уютные мелочи  
 В доме, где мы выросли.

*Сан-Франциско*  
 1965



Видимо, напрасны обращения —  
Обвинения, благодарения, —  
Ясно, что не отвечает небо.

Все-таки — посмотришь ранним вечером:  
Светится голубоватым глетчером.  
(Знаю сам, что холодно и немо.)

Видимо, и нет престола Божия:  
Только небо, на покой похожее,  
Серебрится, бледно золотится.

Это просто метеорология.  
(Отчего заговорил о Боге я?)  
Вечереет. Кажется, зарница.

*Канзас*  
1963



Бывает, светится море  
 Сквозь тени осенней рощи.  
 Бывает, сквозь летний дождик  
 Проступит ясное небо.

И кажется вдруг, что в мире —  
 Следы чего-то другого  
 (Вот так в шевеленье листьев  
 Невидимый виден ветер).

Как будто сквозь близкий шелест  
 Ты слышишь далекий голос —  
 Как будто сквозь дали неба  
 Так близко далекий голос.

*Мюнхен*

1961



Я знаю — не всё ненужно,  
Не всё напрасно.  
И небо не зря жемчужно,  
Светло, прекрасно.

Ну да, оно станет темным,  
Но и в тумане  
Мы свет безоблачный вспомним,  
Виденный нами.

Что делать, что в нашей власти  
Так мало жизни.  
Как рыбку, быстрое счастье  
В ладонях стисни.

Мелькнет, как в небе синица,  
Рыбка-принцесса.  
Но долго счастье хранится  
В памяти сердца.

*Вена*  
1960



Я тоже не верю в бессмертие.  
 Я помню один только день.  
 В саду городском, на концерте...  
 Так пошло, так нежно: сирень

И пение нежно-вульгарное  
 О том, что неверен был «он».  
 Я слушал грустя, благодарно,  
 Рассеян, взволнован, влюблен.

Банально-прелестное пение,  
 Один лимонад на двоих,  
 Бессмертная ветка сирени,  
 Увядающая в пальцах твоих...

*Мюнхен*

1961



Казалось, глинистая дорога  
К началу радуги подошла.  
Сияла в тине, как луч, коряга,  
И даже туча была светла.

И в луже сказочно изумрудной  
Жук золотился, будто янтарь.  
Породой редкой и благородной  
У ржавых рельсов лежала гарь.

Природа бедная, хорошея,  
Полуденный свет вбирала ты.  
Как бы поэзии подражая,  
Преображал он твои черты.

*Канзас*  
1964



Сады, цикады, цыгане,  
 Фонтан, цветами поросший.  
 Наградой поздней — сиянье  
 Над нашей житейской ношей.

Наградой — дыханье юга  
 (За наше с тобой терпенье),  
 Сиянье позднего чуда  
 В июльское воскресенье.

Здесь воздух тронут румянцем,  
 Почти неземная краска,  
 И тусклым диссонансом  
 Твоя угрюмость и астма

В душистой музыке света,  
 В огне, прилившем к лазури  
 (Почти в раю Магомета,  
 Среди розоватых гурий).

*Италия*  
 1957





Лиловеют поганки,  
Серебрится ракета,  
В длинном столбике света  
Золотятся пылинки.

Сок зеленой травинки  
Вяжет горечью небо.  
Золотисты оттенки  
Там, где сине полнеба.

Оцарапал коленки  
Чей-то мальчик горбатый:  
Смугло рдеют кровинки  
В теплом столбике света.

И от южного ветра  
Как бы в дымчатом блеске  
Золотистые краски  
Нежной Божьей палитры.

*Мюнхен*  
1956



Увядает над миром огромная роза сиянья,  
 Осыпается небо закатными листьями в море,  
 И стоит мировая душа, вся душа мироздания,  
 Одинокой сосной на холодном пустом косогоре.

Вот и ночь подплывает к пустынному берегу мира.  
 Ковылем и полынью колышется смутное небо.  
 О, закрой поскорее алмазной и синей порфирой  
 Этот дымный овраг, этот голый надломленный стебель!

Или — руки раскинь, как распяты, над темным обрывом.  
 Потемнели поля, ледяные, пустые скрижали.  
 Мировая душа, я ведь слышу, хоть ты молчалива:  
 Прижимается к сердцу огромное сердце печали.

*Канзас*

1964



Снегом, солнцем и сном.  
Далеким именем счастья.  
Той оснеженной сосной.

Лунным лесом во сне.  
Далекой свежестью ветра.  
Сладостным именем: лань.

Смутным сумраком сна.  
Холодной мглой ледохода.  
Мартовским именем: ночь.

Тусклым утром во сне.  
Летучим именем чайки.  
Розовым знаком зари.

*Мексика*  
1963



Снопы фонтана —  
как светлая райская пальма.  
Остаток дыни  
на влажном газетном листе  
того же цвета,  
как это вечернее небо.

Рабочий пьет пиво. Бутылка  
цвета морской волны.  
Я вижу ясно:  
плывут дельфины,  
дельфины, тритоны  
и nereиды.

*Италия*  
1961



...И звуки вырвались из плена партитуры,  
Как чудо, как лучи в осенний вечер хмурый.

О, если стать дано и этой жизни тесной  
Гармонией земной, симфонией небесной.

О, время нежное, когда не будет гнета,  
Преобразятся вдруг забота и работа

И станут музыкой, свободой и покоем,  
Как уголь — ладаном, как перегной — левкоем...

Так музыка, мечтательно звеня,  
Своей мечтой тревожила меня.

*Мексика*

*1964*



Уже сливалась с ветром дальних Альп  
 Осанна, затихавшая в соборе,  
 Благословляла голубую даль,  
 Благодарила парус или море.

Был в роще шум, как бы невнятный гимн,  
 Был запах роз дыханьем благодати,  
 И дождь прошел, Мариин пилигрим,  
 И пили мы прозрачное фраскати.

И мы не осмотрели катакомб:  
 Здесь расцветал жасмин залогом рая  
 И птица пронеслась — не с червяком,  
 С масличной ветвью, вечность обещаая.

А что стихи? Обман? Благая весть?  
 — Дыханье, дуновенье, вдохновенье.  
 Как легкий ладан, голубая смесь  
 Благоуханья и — благоговенья.

*Иллинойс*  
 1963



Перепела, коростели,  
Две параллели — колени  
В пыли проселочной дороги.

А поле в небо перешло,  
И там, за озером, селó  
И озаренные телеги,

Парóм в сиянии зари,  
Слепые и поводыри,  
Солома светлая у риги.

И нежно озарен плетень,  
Но дымчато втекает тень  
В голубоватые овраги.

Да, вспоминай, воображай  
Неяркий, тускловатый край,  
Край Луги, Ладogi, Калуги.

*Канзас*  
1963



Мне нужно вернуться  
За скрипом колодца,  
За криком детей у реки,

За плёсом в тумане,  
За плеском у сходней,  
За лесом у светлой реки,

За иволгой ранней,  
За ивой прохладной,  
За тихим дыханьем реки.

*Канзас*

1964





Облака облачаются  
В золотое руно.  
Широко разливается  
Золотое вино.

Это бал небожителей,  
Фестиваль, карнавал,  
И доходит до зрителей,  
Как скрипач заиграл.

И две бабочки поздние  
У гнилого ствола —  
Словно крошки амброзии  
С золотого стола.

А подсолнух нечаянный  
У садовых ворот —  
Точно райской окраиной  
Рыжий ангел идет.

*Канзас*  
1965



За музыку полуденного зноя,  
 За музыку полночного покоя,  
 За звуки Моцарта в приморском городке,  
 За эту смесь гобоя и прибора.

За мерный звук катулловых двустежков,  
 За шелест крыльев — о, все выше, выше, —  
 За легкий шорох высохшей травы  
 Под легким телом ветра или мыши,  
 Под легким шагом ночи или Музы.

«За все, за все тебя благодарю я».

*Иллинойс*  
 1963



Так проплывают золотые рыбки,  
как лепестки оранжевых настурций,  
почти просвечивая, точно дольки  
мессинских золотистых апельсинов.

Так шевелятся огоньки церковных  
свечей, мерцая, розово желтея,  
как маленькие пламенные листья.

Так отсвет ранних фонарей в реке  
сквозит, и золотятся, отражаясь,  
оранжевые лепестки заката.

Так в темных, с рыжим золотом, глазах  
плывут, колеблясь, золотые тени.

*Париж*  
1953



Эта нежная линия счастья  
 Порвется? Продлится?  
 Куница, синица,  
 Не бросай меня, легкая гостья.

Чтоб дожить мне до мудрости старца,  
 Сухого уродца,  
 Пусть долго не рвется  
 Эта нежная линия сердца.

Приучай, что придется расстаться,  
 Душонка, Психея,  
 Дай привыкнуть к тому, что слабеет  
 Это здешнее счастье,

Что одна полетишь без боязни,  
 Где счастьем конца нет,  
 Где радугой станет,  
 Вечной радугой станет  
 Эта нежная линия жизни.

*Скалистые Горы*  
 1965



## ВДОХНОВЕНИЕ

Пожалуй — жалость, «грусти жало»,  
И звук, как тени в ночном саду.  
Немое слово трепетало,  
Я бредил словом на ходу.

Я не могу сказать яснее,  
Я не умею тебе сказать.  
Как будто музыка во сне — и  
Начало трепета опять.

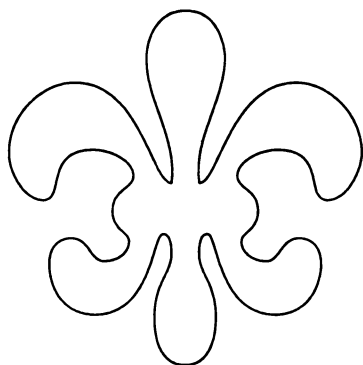
Как будто жалость или скрипка  
И даже — Муза поет в луче.  
И новый звук качнулся зыбко,  
Не знаю — мой? Не знаю — чей.

И взмах крыла (несмелый, жалкий),  
Как будто осенью свет весны,  
И звуки флейты, как фиалки,  
Пугливой свежести полны.

*Скалистые Горы*  
1965



**ПАРТИТУРА**





## I

Как это солнцу спокойно сияется,  
Птицам поется, розам цветется,  
Саду шумится и морю мерцается,  
Филину спится, фонтану журчится,

Если тебе не ложится, не пишется,  
Только вздыхается, даже не дышится,  
Только жалеется, смутно желается,  
Только тоскуется, только скучается?





Голубая Офелия, Дама-камелия,  
 О, в какой мы стране? – Мы в холодной Печалии  
 (Ну, в Корее, Карелии, ну, в Португалии).  
 Мы на севере Грустии, в Южной Унынии,  
 Не в Инонии, нет, не в Тоскане – в Тоскании.

И гуляет, качаясь, ночная красавица,  
 И большая купава над нею качается,  
 И ночной господин за кустом дожидается.  
 По аллее магнолий Офелия шляется.

А луна прилетела из Южной Мечтании  
 И стоит, как лунатик, на куполе здания,  
 Где живет, где лежит полудева Феврония  
 (Не совсем-то живет: во блаженном успении).

Там в нетопленном зале валяются пыльные  
 Голубые надежды, мечты и желания  
 И лежит в облаках, в лебедé, в чернобыльнике  
 Мировая душа, упоительно пьяная, –  
 Лизавета Смердящая, глупо несчастная,  
 Или нет – Василиса, нет, Васька Прекрасная.



*Александрю Гингеру*

Лошади впадают в Каспийское море.  
Более или менее впадают, и, значит,  
овцы сыты, а волки — едят Волгу и сено.

О, гармония Логоса! И как же иначе?  
Серый волк на Иване-царевиче скачет  
(по-сибирски снежок серебрится),  
и море,  
которому пьяный по колено,  
зажигает большую синицу  
в честь этой победы Человека.

Человек, это гордо!  
Любит карась погреться в сметане,  
чтобы милая щука поела, дремала.  
Перстень проглотил рыбу царского грека.  
Дважды два семь, не много, не мало.  
Солнце ясней, когда солнце в тумане.

Солнце слабеет. Как бледно и серо.  
У Алжирского носа под самым Деем  
тридцать пять тысяч одних курьеров.



Да, утомило, надоело,  
Осточертело всё к чертям.  
Душа, хватай под мышки тело,  
Бежим в Эдем, бежим в Сезам!

И слушает мольбу о чуде  
Душа, разглядывая сор:  
«Там воскресения не будет.  
Там тот же погребальный вздор.

Там тоже ямы, трупы, речи,  
Смесь чепухи и требухи,  
И шевелит нездешний ветер  
Заоблачные лопухи.

Ни ада-с, сударь мой, ни рая-с...»  
Ну что ж. Ты слушаешь ее.  
Молчишь, вообразить стараясь  
Загробное житье-бытье.



*Алексею Ремизову*

В долине плача, в юдоли печали  
(Мели, Емеля, твоя неделя),  
Где гуси-лебеди пролетали,  
Мы заиграли, мы загуляли.

Кисельные реки, молочный берег —  
И мы там были, и пели, и пили.  
По усам текло, а в рот — попало?  
Да нет, не попало, пиши пропало.

Аленушка, слушай — Лель на свирели,  
Уплыло горе в заморское море!  
— Мели, Емеля, твоя неделя —  
Ай да люли, разлили малина!

Долина плача, моя долина.



Задуматься, забыться, замечтаться,  
Заслушаться ночной тоски.  
Венеция, весна, и ночь, и пьятца.

Вот — хризантемы, видишь — орхидеи  
(Обрывки дыма и туман).  
Что ж, посидим, друг другу руки грея.

Нет, волшебство едва ли возвратится,  
От лунных чар болят виски  
(Платить по счету: кьянти, асти, пицца).

И мы идем, и в луже мокнет роза,  
А музыка — один обман,  
Как постаревшая Принцесса Грёза.



Жизнь улыбалась, будто Царь-Девица,  
А нынче хочется развоплотиться.

Очарованье, чары, волшебство?  
Нет ничего (но это — ничего).

Да, превратились нежные соблазны  
В гнилую падаль, в горестные язвы.

Ну да, весна, сирень или герань,  
Но дело дрянь и тело просто рвань.

Все превратилось в горечь и усталость.  
Душа, бессмертная, поистрепалась.

Душа гниет, и пахнет бытие  
Отравленным дыханием ее.



И жизнь — будто мельничный жернов на шее,  
будто бревно, рухнувшее на зеваку.  
Жизнь — как смерть, только нет в этой смерти  
покоя.

Где он, покой, похожий на светлое летнее поле?  
Не золотые сады, в которых  
живут Геспериды. Просто  
дорога в ухабах, коровьем и конском навозе,  
и мы выходим в летнее милое поле.



Я проживаю в мире инфузорий  
(Дом ноль-ноль минус в Тупике Микробов).  
Я казначей Содружества Бактерий.

Мы там—танцуем—танец—стрептококков.  
Я улыбаюсь голубой Бацилле,  
Большой поклоннице литературы.

Я пью коктейль с ценителями гноя,  
Разбавленный питательным бульоном,  
И что-то вроде столбняка находит.

Звезда Бактерий блещет надо мною.





*Николаю Белоцветову*

Казалось, становится небо  
Жемчужной, мерцающей розой,  
Рождался игольчатый стебель  
Из ветра, молчанья, мороза.

А после и синяя роза  
Осыпала всё лепестками,  
Колола шипами мороза,  
Синела высоко над нами.

Но сердце, озябшее, знало,  
Что это, конечно, не роза.  
И в жалких лохмотьях дрожала  
Простушка по имени Грёза.



Разлетается сердце темными комьями крови,  
Ключья души висят на терниях жизни —  
Колючая проволока судьбы, в шипах заржавелых.

Так и терзайся при жизни в серном пламени ада,  
Связанный пленник, потрепанный, перегоревший.  
Что, освежает тебя холодный пепел мечтаний?



Так и живу,  
жуком, опрокинутым на спину,  
жертва своей скорлупы.

Беспомощно бьюсь,  
барахтаюсь, шевелю  
жалкими конечностями,  
членистоногий.

Да, конечно, законы тяжести —  
спорить — напрасно.  
Уже занесен,  
уже надо мной  
черный сапог,  
любитель хруста.



Мотаться нам да маяться  
(Земное безобразие),  
Мочалиться, мытариться,  
А все-таки мечтается —  
Иллюзии, фантазии...

Мечтается, миражится,  
Поется, куролесится,  
Душа — блудница, бражница —  
Невестится, куражится,  
Несет-то окоlesiцу.

Потараторь, голубушка,  
Потарабарь, неумница,  
А после сразу бухнемся  
С тобой в тартарары.



*Владимиру Смоленскому*

Наскучившая толчея  
Молекул мелких бытия,  
Как мошкара перед закатом.

Спешат работники толпой  
Работать и — домой  
С работы.  
Все та же, та же колея.  
Орбиты скуки и заботы.

В погасшем, мутном, тускловатом  
Над парком первая звезда.  
Знакомо-серые пустоты.

Да, путь указан навсегда  
Звезде, молекулам, землянам.  
Туда — сюда, туда — сюда.

Да, вдребезги бы дребедень.  
(Как Богу созерцать не лень?)  
И пахнет парком и туманом.

Так резко ветер холодел,  
Был жалко прожит жалкий день,  
И сердце слабо дребезжало.



Согласен, давай поиграем,  
 Расплата, пока, «за горами».  
 (А пахнет-то — серой, не раем.)  
 Стою, притворяясь героем:  
 Сразимся, Судьба дорогая,  
 В картишки, Судьба дорогая, —  
 В геенне земной догорая.

(А звезды? Над миром, над морем...)

А лучше бы — прочь из геенны...  
 (Ехидны, шакалы, гиены.)

Горело багровое жало,  
 Зверье поиграть предлагало.  
 И прятки, и жмурки, бывало,  
 И карты — прекрасно, премило.  
 (К несчастью, душа проиграла.)

И с чертом за милую душу  
 Сыграем (а все же я трушу).  
 Лунатиком выйти на крышу,  
 Обрушиться в синее с крыши...  
 Да где уж, Судьба-дорогуша, —  
 Я правил игры не нарушу.



Горькие земные оскорбления  
Житель рая радостно простит.  
Ну а мы? Мы в ангельское пение  
Превратим мешки обид?

Бедный, смертный, что ж нам сладкозвучие?  
(Летний зной, а в теле — гной.)  
Не играй, обманщица певучая,  
Не мерцай ты в мерзости земной.

В мерзости застряло сердце, вертится  
Колесом в усталой колее.  
Что ж, мели, бессмысленная мельница,  
Копошись в земном гнилье.

Разлагается земное тело — и  
Морщится — собой нехороша —  
Опостылая, осточертелая,  
Тоже опустелая душа.



Ну не бессмертие, хотя бы забытье.  
Да, «упокоиться», забыться.  
На свалку жизнь — отжившее старье.  
И ночь, блаженная царица.

И даже не нужна высокая звезда  
Над ворохом житейской дряни.  
Бессмертие — какая ерунда.  
(Питаться падалью мечтаний!)

Есть только ночь. Смешно — всегда в  
законный час  
Придет волшебницей чудесной:  
Закреть житейский хлам, земную грязь  
Блаженно-синенькой завесой.

А что касается бессмертия... Всегда  
Вообразится глупость, небыль.  
Бессмертие — какая ерунда.  
Но — звезды... Удивляюсь. Небо...





И ангелу случается отчаяться.  
Он вешается, топится, стреляется.

Его душа, печальная страдалица,  
Во что-то маленькое воплощается.

Ей суждено (он не успел раскаяться)  
Жить гусеницей или каракатицей.

И вот живет, питается, спасается,  
И прошлое не жжет, не вспоминается.

А после воплощается смиренница  
В снежинку (потерпи — и переменится),

И, светлая, она летит над улицей  
И ангелами дальними любит.



## II

Уже холодеет,  
и тонкая белая птица  
висит над зеленой водой  
остатком погасшего облака,  
вернее, огромной снежинкой.

Берег пустеет,  
но кафе над сиреневым пляжем  
еще открыто.  
Сядем, закажем  
белое мороженое,  
похожее  
на холодные белые розы.

Хочешь, вообразим,  
будто это  
две порции амброзии,  
прямо с Олимпа?  
Съедим и скажем,  
посмотрев на горы:  
— Мы тоже бессмертны.



Прозевал я, проворонил, промигал.  
Улетело, утекло — видал-миндал?

Ветра в поле, шилом патоки — шалишь!  
Только — кукиш, погляди-ка, только шиш.

А над речкой, переливчато-рябой,  
Светит облако, забытое тобой,

И денек на веки вечные застыл,  
Тот, который ты увидел и забыл.

Та же самая в реке блестит вода,  
Та же бабочка над отмелью всегда.

Светлый листик, желтый листик, помнишь, тот,  
Реет, кружится уже девятый год.



Утоли мои печали  
Летним ветром, лунным светом,  
Запахом начала мая,  
Шорохом ночного моря.

Утоли мои печали  
Голосом немого друга,  
Парусом, плечом и плеском.

Утоли мои печали  
Темным взглядом, тихим словом.

Утоли мои печали.



Как будто звёзды в хрустале,  
Сиянье пира, сиянье бала,  
В твоей руке звезды светлей,  
Алмазно-лунный, цветок бокала.

Лишь миг шампанское шипит,  
Идем кружиться, идем кружиться,  
И черный веер уже раскрыт,  
И тень взмахнула, и ресницы.

И плечи плавные плывут,  
Белея бально, блестя крылато.  
Пока живем, пока мы тут,  
Пока не скоро еще расплата...



*Николаю Оццу*

Кто запустил в это серое небо  
семь разноцветных шаров?  
Словно бы взяты живыми на небо  
семь драгоценных тюльпанов.

Вот и темно, но вслед за шарами  
везет самолет огоньки:  
Бог украшает цветными шарами  
ветки невидимой елки.

«Лопнет как мыльный пузырь — и скоро —  
шар, на котором живем».  
Все-таки это, пожалуй, нескоро.  
О, улетим за летучим огнем,  
с легким огнем поиграем.



*Владимиру Злобину*

Но горю не помочь — и полно говорить  
О жалкой мелочи житейской:  
Нам реку черную придется переплыть,  
Доплыть до города Летейска.

Но я хочу — пойми! — на память взять с собой,  
На память взять в страну забвенья  
Хотя б дубовый лист с отчетливой резьбой —  
И убережь его от тленья.

Чтобы видела душа, покинувшая труп,  
Бродя в стране, где бродят тени,  
И августовский зной, и запыленный дуб —  
Иль хоть бы тень от летней тени.



Да, милые мелочи, вас тоже потоп унесет,  
И внидут потомки в свои ледяные потемки.  
И значит, не надо житейских печальных забот,  
Послушаем ветер в саду, синеватый, негромкий.

Послушаем вечер над цветущим жасмином, когда  
Уже не поют соловьи, но трава напевает.  
Кукушка, не спи, это полдень, давай, погадай.  
А впрочем, я знаю, кукушек в садах не бывает.

Уже над левкоями, там, аквамарин светляка,  
И ночь расцветает большой темно-синей лилеей.  
Не надо грядущих несчастий. Вот так — на века.  
А может быть, а, — на далекой звезде веселее?





Как будто золото в Рейне,  
Мерцают тени.  
Сияют в ясном бассейне  
Нежные деньги.

Легко покоится стадо  
Мелкой монеты.  
Как будто гроздь винограда  
Лучом задета.

Сияет горсть побрякушек  
В прохладе легкой.  
Гляди — покоятся души  
В раю далеком.



Скоро сгорит печаль.  
Ветер альпийский развеет  
пепел печали.

Может случиться,  
тогда ты захочешь  
написать прекрасное слово «печаль»  
на светлом летнем песке,  
на крыле стрекозы,  
на смутном течении речки,  
по тонкому краю заката,  
на безмолвии ночи,  
на невидимом Млечном Пути.



*Борису Плюханову*

О вечер, темный друг, мы так устали.  
И тишина летает над кустами.

И медленно из меркнувшего леса  
Уже течет мутнеющая Лета,

Но пахнет мятой и немного хвоей,  
И слушаешь, замученный и хворый,

Спокойный голос воздуха и ночи,  
Замедленный на синеватой ноте,

И смерть недостоверна, как легенда,  
Как темная, далекая Лигейя.



*Виктору Емельянову*

Душа становится далеким русским полем,  
В калужский ветер превращается,  
Бежит по лужам в тульском тусклом поле,  
Ледком на Ладоге ломается.

Душа становится рязанской вьюгой колкой,  
Смоленской галкой в холоде полей,  
И вологодской иволгой, и Волгой...  
Соломинкой с коломенских полей.



И луковица — жемчужина,  
И финик — темный янтарь.  
Собор — как жесткое кружево,  
Дырявый, древний стихарь.

Акула в томатном соусе —  
Коралл и мрамор, смотри!  
И кружка пива, по совести,  
Топазовая внутри.

И взяв рыбешку копченую,  
Что золота золотей,  
Пошел к святому Антонию  
Какой-то рыжий Антей.

Ну да — хотелось бессмертия,  
И я запомнил навек  
Трактир, собор, и безветрие,  
И море, и вечер, и свет.



III

Но выше нежного сияния  
Колышется трава забвения,  
Туманно-бледное растение.

И расстилается молчание,  
И превращаемся и день и я  
В рассеянные привидения.

Из декораций мироздания  
Лишь лиловатые да синие  
Остались (опустелой скинией).

И над развалинами скинии  
Холодная трава забвения,  
Холодная река забвения.



Да, недужится, неможется,  
В сердце прыгнула игла.  
Смерть — оскаленная рожица —  
Выглянула из угла.

Не поможет потогонное...  
Что ж ты смотришь наяву?  
Уплываю в Патагонию,  
В Похоронию, Харонию,  
В Погребалию плыву.

Аспирины аспириновые...  
Обессилен... Кошка, брысь!  
Палестины апельсиновые...  
Обесилы Абиссинии...

«Подставляй-ка губы синие,  
Ближе к молодцу садись».



Ну что — отмутился? «Залогом примиренья»  
 Белеет роза на груди.  
 Ну, если не обман блаженные селенья,  
 То — Царство Света впереди.

Но свет, пожалуй, был на будущей могиле,  
 И воздух, как жасмин, расцвел,  
 Когда тебя, дружок, — ты помнишь? — положили  
 На операционный стол.

А в тот, нездешний мир ты, значит, под наркозом...  
 И что же — Бог, блаженство, свет?  
 К огромным, ангельским, крылатым, райским розам...  
 Так как же — неужели нет,

Всё глупости (эх, хоть бы сон блаженный!),  
 Лишь роза на груди, где шов,  
 Недолговечной, да, земной, земной заменой  
 Небесных вечных лепестков?





Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?

И жало смерти, и победа ада.  
За два тысячелетия — не лучше.  
Без перемен...

Ну, помечтаем лучше  
О лоне Авраамовом... (Прохлада,  
И Страшный Суд прошел благополучно.)

Да, если бы... Пустые разговоры?  
Висит луна, как яблоко раздора,  
Познания добра и зла, греховный  
И мертвый плод.

Так вот — когда? Не скоро?..  
Долина горя, темный лес огромный.

Прощение, спасение... Темница  
Не навсегда? «В начале было Слово».  
Да, хорошо бы. (Небо так сурово.)

А впрочем, подождем. Как говорится,  
До скорого! Вернее, до Второго  
Пришествия...



Да, неудачи, и ночь, и так далее.  
(Струны давно отзвуча... отзвучали... и.)  
Что ж, начихать, наплевать.

Да, не умел, проиграли баталию.  
Черный прибор, наплывай!  
(Навзничь, на нож — невзначай...)

Вечность, ну-ка, встречай!  
Нету печали и  
Нет воздыхания  
Там, у чертей, в развеселой компании.

«Само-убийство»... Да нет, разумеется.  
Попросту — в жизни пришлось разувериться.  
Дело в тюрьме и суме,  
В глупой земной кутерьме.  
Кто ты? Овечка? Ме-ме.

Слабый: не стерпится. Гордый: не слюбится.  
Жить не умел, так умей  
Ангела — нет, не Хранителя — слушаться,  
Смутного лика во тьме.



*Сергею Маковскому*

А я повидал бы жемчужно-блаженное царство,  
Алмазный оазис в лазурном дыханье фонтана,  
Сапфирную розу в тени голубого анчара.

Змеиную тень у гробницы Омара Хайяма,  
Кристалл изумруда на мертвой руке богдыхана,  
Пятно скарабея на мертвой руке фараона.

Колючую тень скорпиона над мальчиком сонным  
И лунный дворец над огромным скалистым обрывом,  
И темную змейку на темной груди Клеопатры.



## IV

Мне даже думать об этом странно,  
Но если все-таки («вот-вот!»)  
Моя рассеянная осанна  
Меня от гибели спасет, —

То в неземном Иерусалиме  
Взгляну туда — сквозь Божий гром, —  
Где был (любимый? — Ну да, любимый)  
Испепеленный Новый Содом.

И успокоясь и улыбаясь,  
Гуляя в ангельском краю,  
Далекий пепел посозерцаю  
И нежную песенку спою.



Всё темней тишина, это сон океаном синееет.  
Авраам, Авраам! Это Ной, это Ной и потоп...  
Над разбитым ковчегом... И волны — темнее, сильнее.  
Нет, какой Арарат, это айсберг, и кто там спасет...

Скоро воздух взорвется — и станет светлее зари.  
Я не знаю, успеет воздушный ковчег прилуниться?  
Вавилон, Вавилон, это башня упала, смотри,  
И, на камнях белея, в крови умирает блудница.

Мне на миг показалось... Да нет, почему Азраил,  
Только мутные тучи и ночь, никаких Азраилов...  
Только ветер, пророк бородатый, я знал, я забыл.  
Он ночами стучался, но ты не пошла, непустила.

Хриплый голос во сне... Ханаан, Ханаан, Ханаан...  
Мы вернемся, вернемся... Да нет, никогда не вернемся.  
Обрывается дождь, осыпается дождь в океан.  
Видишь — Ангел Расплаты. Ну что же, иди — познакомься.



Хрустальным кристаллом  
Казался июль,  
И в зареве алом  
Проехал патруль.

Играл на свирели  
Убитый солдат,  
И лилии пели  
Для малых ребят.

И в струях напалма  
Горело село,  
И черная пальма  
Поймала крыло

Того самолета,  
Который — ну да.  
И летчик горел,  
Как большая звезда.



V

Не о войне — о том, что часто снится мне  
И сорок первый год, и страшный гость.  
О смутном угасающем огне  
Над городом в четвертый год войны.

Да нет, не о войне — о зверской той зиме,  
О зное, снившемся под Новый Год,  
О черном, окровавленном письме,  
О лунном берегу другой страны.

Не о войне, о нет — о страшной той весне,  
О сгустке крови с маленькую горсть,  
О том, что мы спаслись — в чужой стране,  
О чувстве — перед мертвыми — вины.



- «Так вот, товарищи, — прошло полвека.  
»Перековали, значит, человека?
- »Затеяли, заворотили дело!  
»В копеечку, в копеечку влетело.
- »Свобода чтоб — и счастье без уродства...  
»Придется подождать, уж как придется.
- »Да, вкалывали так — порой хоть выжми!  
»И ждали, значит, лучшей, светлой жизни.
- »(А миллионы ж в жертву не хотели —  
»Ну, тех — «в расход, чего там, в самом деле!»)
- »Наголодались мы, наголодались,  
»Намучались, наждались, набоялись.
- »И в лагерях, на койках, 'доходили' —  
»Переплатили, брат, переплатили.
- »И я, брат, — большевик: пора б дожидаться —  
»Товаров больше бы, и больше братства.
- »Ну, выпьем за живых. Мороз, простыл я.  
»Россия, да... Россия... Эх, Россия...»





*Одному поэту в России*

Терзали, кусали козявки,  
И мошки впивались больней.  
Холодные, черные пьавки  
К душе присосались твоей.

(А все же — стихи, вдохновенье,  
Писать про земную красу?)  
Живьем обглодали оленя —  
Большой муравейник в лесу.

Заели. Но больше не грозен  
Ничей муравьиный укус,  
И пьавки — багряные гроздя,  
Скелет — расцветающий куст.

И к лучшему, значит: загрызли,  
Чтоб вышли стихи пободрей,  
Чтоб сердце училось при жизни  
Быть лакомым блюдом червей.



VI

Мы птицы, мы ветры, кометы, ангелы.  
 Летим, скорей!  
 Вот берег Италии и берег Англии,  
 Перу, Пирей!

Апрельским днем, альпийским сиянием,  
 la-la, la-la.  
 К каким Испаниям, каким Сиамам  
 Причалою я?

Но та страна, к которой причаливаем,  
 Не на Земле.  
 Ну что ж, не гляди с глухим отчаянием  
 В холод полей.

Стихает лазурь, погасла музыка.  
 И воздух — ночной.  
 О нет, не Гурзуф, о нет, не Грузия,  
 Но все равно.

Одежды из черных базальтов наденем и —  
 la-la, la-la.  
 И в небе пройдет ночным видением  
 Земля, Земля.



Я был хозяин облаков и рая,  
Я был жилец мифического рифа,  
Я был соседом древнего Орфея  
И жителем далекого эфира.

Я был владельцем ночи и тумана.  
Мой Млечный Путь! Мое кольцо Сатурна!  
Я был бессменный сторож Ориона...  
Но это было тягостно и трудно.

Я был хранитель моря и пустыни,  
Но, помнится, мне надоело это,  
И я вошел сквозь трепетные тени  
В холодное, безжизненное тело.

Я чувствовал, как леденело небо,  
Как лунный звук переливался в море,  
И, кажется, я улыбался слабо  
В полупрозрачной облачной дремоте.



*Георгию Раевскому*

В металлический мир кибернетики  
Мы входить не должны, не должны.  
У весенней волны Адриатики  
Мы возьмем голубые билетки  
На концерт облаков и луны.

Я не очень люблю Аристотеля,  
Больше верю в Творца Вседержителя,  
Но боюсь (это грех или бред?),  
Что в минуту решат вычислители  
Всё о Боге, о зле и добре.

Обо всех чудесах мироздания,  
О неясном загробном свидании  
И о том, почему и зачем  
Мы в задумчиво-смутном волнении  
На высокие звезды глядим.



*Федору Степуну*

Он Иванóв, Петров или Семенов.  
В туманный вечер он бежит в аптеку.  
Но кто он? Общежитие молекул,  
Колония протонов и нейтронов.

Он темная компания энергий,  
Сообщество бесплотных волн и вихрей.  
Но он следил, как облака померкли,  
Как липы зашумели и затихли.

Он из воды, каких-то минеральных  
Солей. Он местожительство микробов.  
И он идет, задумчивый, печальный,  
Почти эфирный, о, почти астральный,  
Бессмертный дух... С таблеткой от озноба.



## VII

Еще не дадут душе улететь  
Обязанности, привязанности.  
О, солнце свободы, светлая весть  
Прозрачной праздничной праздности!

Еще цепенеешь, горестный раб  
Заботы, законов, покорности.  
О, светлое чудо покоя, рай,  
Легчайший свет беззаботности!

Простимся с делами — долой дела! —  
С волненьями, огорчениями.  
И станут печали движеньем крыла,  
Беспечным, блаженным твоим тра-ла-ла,  
Свирелями, виолончелями.



*Георгию Иванову*

О Планида-Судьба, поминдальничай,  
Полимонничай, попельсинничай,  
Чтоб душа пожила не страдалицей,  
Пожила бы душа именинницей,

Баловницей, царицей, капризницей!  
Захотелось душонке понежиться —  
Потому что еще мы не при смерти,  
Далеко до зубовного скрежета.

Сокруши-ка, Судьба, врата адовы,  
Улыбнись ты, Дурёха Ивановна,  
Чтобы райской невиданной радости  
Было море кругом разлитое!



Было б неплохо поехать в Отрадное —  
Речка в Отрадном совсем изумрудная.  
К черту страдания, к черту старания —  
Сделал из облака ветку сирени я.  
Белой сиренью сиянье качается.

Или, пожалуй, поедем в Аркадию.  
Ангел в штанах из алмазной материи  
Будет давать нам уроки бессмертия.  
Дай нам пристанище, речка волшебница,  
Замок лазурный из лунной мелодии.

Светится поле. Оно — елисейское.  
В нем хороводятся тени блаженные.  
Да, голубые, жемчужные жёны — и  
Фея, которая делает райскую  
Нежную скрипку из ветра весеннего,  
Нежное облако, полное пения.





Ну, а тебе — дела не опротивели?  
Не надоело волноваться?  
Давай поблагодуетствуем в Тиволи,  
Где веет райская прохладца.

Побалуем скучающую душеньку  
Чайком, винцом, воображеньем.  
Послушаем копеечную музыку,  
Колпак с бубенчиком наденем.

С большими ангелами повстречаемся,  
Побалагурим и подвыпьем.  
И к повести, которая кончается,  
Добавим неземной постскрипту.



Не муравьино, а соловьино,  
 Блаженной дурью Арлекина...  
 Уже голубка Коломбина  
 Слетает с облака голубого.

Над Атлантическим океаном  
 Летит играя мандолина,  
 И дочь хозяина балагана  
 Тебя мечтает осчастливить.

И желтый клоун в небе катит  
 Большое колесо Фортуны,  
 И нежная ручка обезьяны  
 Блаженство вынула из урны.

Быть может — так, быть может — иначе,  
 Не знаешь сам, что звуки значат,  
 Но солнце ловишь ты, как мячик,  
 Как персик мягко золотистый.



Что же всё бороться и бороться...  
Лучше купим розовый палаццо  
Или облако большое купим.

Я надумал позабыть заботу,  
Поменять заботу на комету,  
В лавочке купить Кассиопею.

Или без билета в лотерею  
Выиграть большую золотую  
Порцию бессмертия — ты хочешь?



Шепчу слова, бессвязно, безотчетно,  
Бессмысленно в безлиственной аллее,  
Проходит день бесплодно и бесплотно,  
Но темные слова уже светлее,

И вижу звук, как серебристый луч, я,  
И кажется — не обречен шептать я:  
Уже слетает ангел полнозвучья  
Наплывом музыки и благодати.

А в небе отблеск — дымный, дынный, длинный —  
И колокол звонит (не дар Валдая),  
И синие цветы иной долины  
(Не то что рая, но — иного края)  
В сиянии цветут не увядая.



*Анне Присмановой*

Превращается имя и отчество  
В предвечернее пламя и облачко,

И становится дата рождения  
Отражением — в озере — дерева.

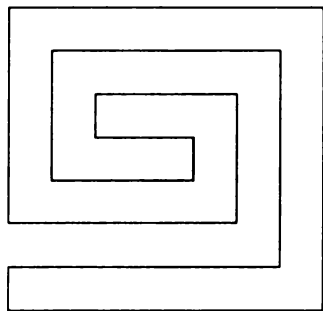
И становится даже профессия  
Колыханием, феей и песенкой,

И остатки какого-то адреса  
Превращаются в лотос и аиста.

И подумайте — стала фамилия  
Розоватым фламинго — и лилией.



# КОМПОЗИЦИЯ





## ГАЛЛЮЦИНАЦИИ И АЛЛИТЕРАЦИИ

Может быть, оба мы будем в аду.  
 Чертик, зеленый, как какаду,  
 Скажет: «Вы курите? Кукареку.  
 А где ваши куррикулум вите? Угу.  
 Садитесь оба на сковороду.  
 Не беспокоит? Кра-кра, ку-ку».

Жариться жарко в жиру и в жару.  
 Чертик-кузнечик, черт-кенгуру,  
 Не смейте прыгать на сковороду.  
 Мы хотим одни играть в чехарду.  
 «Ква-ква, кви про кво, киш-миш, в дыру».

Кикиморы, шишиморы, бросьте смешки,  
 Шшш! Не шуршите вы про наши грешки.  
 В кипящем котле сидит Кикапу,  
 А мы — мы обманем эту толпу,  
 Этих чертей, зверей, упырей,  
 Мы полетим над синью морей,  
 Мы будем вдвоем играть в снежки —

О, снег для твоей обгорелой руки!





В стране Шлараффенлэнд,  
В заоблачной стране Шлараффенлэнд  
Зоолог и турист Каннитферштán  
(Из Копенгагена) зашел в кафешантан,  
Но оказалось, это крематорий.

Он был рассеян и себя позволил сжечь,  
Развеял пепел и сказал: – Берите! –  
И скоро заблудился в лабиринте  
Лабораторий мировой истории  
И ночи, где на дне Левиафан  
Мычал и бегали хамелеоны  
(Краснея, голубея, зеленея).

Там в обществе кентавров, минотавров,  
Реакторов, министров, минометов  
Каннитферштан сидит и пьет манхэттен  
И смотрит, как в аквариуме черном  
Химеры, великаны-тараканы  
На Гулливера квакают, квакваны.



Woher, wohin —, nicht Nacht, nicht Morgen,  
kein Evoë, kein Requiem.

*Gottfried Benn\**

«Ирония судьбы». Смертельное ранение иронией.  
Хо-хо! И мертвый расхохочется.  
Не плачь — и рана не беда, не тронь ее,  
Не плачь, молчи, не обращай внимания,  
Мне расхотелось жить, тебе расхочется.

Ты «сел не в тот вагон». И я. («Бывают недоразумения»,—  
Сказал верблюд, слезая с утки.)  
Была зима, снега. Ночные тени я  
Пытался разогнать иронией,  
И пили мы вторые сутки.

Мы опоздали, навсегда. Не опозорены,  
Но всё пропало, всё пропало.  
«Ирония судьбы». Судьба, мы ранены иронией.  
Мы сброшены с пути, как поезд взорванный  
У обгорелого вокзала.



\* Куда, зачем — ни ночь, ни утро, ни реквием, ни эвоэ.

*Готфрид Бенн*

(Здесь и далее переводы эпиграфов И. Чиннова.)

Пример предустановленной гармонии:  
Новорожденный стал новопреставленным.

Пустой собор. Не кашляй. Отпевание.  
На мраморе надгробное рыдание  
(Последнее, немое целование...)  
Пойдем к цветам, у гробика расставленным.

К слепому личику, косому лучику?  
Но в лучшем из миров всегда всё к лучшему...  
Он умирал без боли, без сознания.

...На кладбище: имеет ли значение  
Высоко в небе смутное свечение?

...Те бронзовые розы на распятии,  
Те отблески на обелиске. Снятие  
С креста. И грусть, и жалость, и апатия.



Темные водоросли предвесенней ночи,  
Темные лепестки ночной души пустынного мира.  
Но уже возникает над бесшумным садом  
Серое пламя.

Пепельные кораллы предрассветного часа,  
Серая лава небытия, молчанья, забвенья.  
Но уже на туманном пепелище жизни —  
Голос из пепла.

Что же, плыви, уплывай, саркофаг ночного покоя,  
Медленный катафалк безмолвных бессонниц.  
Снова — влачить на плечах тяжелую ношу дневного  
Скорбного скарба.  
Снова — встречать на пути огромные скорбные камни  
Вечных Сизифов.



Лунная ива в снегу –  
Белая арфа.  
Мертвый лежал – ни гу-гу –  
В бледном безлюдии парка.

Тени к убице ползли  
(В липкое влипли).  
Так далеко от земли  
Тлело Созвездие Лиры.

Небо, сапфирный престол,  
Звездные сонмы.  
В парке убица прошел  
В лунные снежные сосны.

Что же! Не ох и не ах:  
Струны и гимны.  
Что там! На лунных снегах  
Многие гибли.  
Звуки порхали: бах-бах,  
Точно колибри.



Мертвый пейзаж на Луне —  
 Вариант омертвелой печали.  
 Сколько вариантов печали  
 (И смерти) известно мне?

Что там было, в язвах Луны?  
 Варианты чумы и проказы?  
 (Ах, сердце, ну что тебе фазы  
 Той прокаженной Луны?)

Есть варианты и здесь —  
 Эмфизема, саркома, склерозы.  
 Вариантов множество есть.  
 Но горы, озера и розы  
 Нам радуют сердце здесь.

А впрочем, зигзаги гор —  
 Больничная кардиограмма.  
 И сердце — хлам среди хлама,  
 И Смерть, Прекрасная Дама,  
 Нисходит с безлунных гор.



И яблоко, по зрелом размышлении,  
По ветке чиркнув, быстро стукнулось —  
Свидетельство закона тяготения.

И черный кот поймал мышонка белого,  
С ним поиграл, а после съел его —  
Закон единства противоположностей.

И там, где спорили две точки (зрения),  
Прямая (фронтальная) линия  
Была, увы, кратчайшим расстоянием.

Потом разрушили до основания  
Два города в весенней зелени  
(Закон достаточного основания).

И солнце в море опустилось весело,  
Теряя в весе столько, сколько весила  
Им вытесненная купальщица.



Жил на свете таракан,  
Таракан от детства,  
И потом попал в стакан,  
Полный мухоедства.

*Капитан Лебядкин*

«И срублен ты, как маков цвет, под коре-  
»нь, на жизненном пути, в житейском море.  
»Метался, как подкошенный, как вко-  
»как вкопанный, убит безжалостной руко-

»й, как прошлогодний снег. Бесстрастная луна  
»увидела, как во-царилась тишина,  
»ти-ши, ши-ши, ши-на... И ты, увы,  
»как все,  
»в моги-

ле-  
ле-  
ле-

жишь, как белка в колесе,

»как лист перед травой, как клетка в птичке —  
»как птичка в клетке, клетке-невеличке,  
»и ниже, ниже, эх, травы, тра-тра, тра-тра,  
»травы».





Далекий лед, далекий дымный день.  
Над миром облако висело.  
И фосфор жег сердца людей.

Бежали тени, в небе гналась тень.  
На дереве висело тело.  
И мать вела чужих детей.

Ложился желтый свет на жесткий снег.  
Был красный след на белом свете.  
Был черный след еще ясней.

Был черный лед, я видел снег во сне.  
Был темный дым над миром этим.  
Был дом, горевший в тишине.



Обожжены, обнажены, обижены  
Края души — и вот, о смысле жизни,  
О том, что мы искажены, обезображены,  
Что жизнь порою хуже казни, —  
И черт хихикнул: «Это наши козни,

Мон шер, о богословской сей материи  
С вопросами соваться к Небу  
Смешно: шарады, фокусы и ребусы.  
К ним комментарий — крематорий.  
Все просто потому, что потому  
Оканчивается, оканчивается на у».



Там поют гиены и павлины,  
Ходят по долинам золотым,  
И слетает к лилиям долины  
Бывший демон — серафим.

Нежатся с акулами святые,  
Грешники сыграли с Богом в мяч.  
Примеряет нимбы золотые  
В ризе розовой палач.

Ангел ведьме наливает: пейте!  
Светится добром бокал вина.  
И осанну засвистел на флейте  
Белоснежный Сатана.

Радуются ангельские рати:  
Тишь да гладь, да Божья благодать.  
Мы туда, любезнейший читатель,  
Киселя пойдем хлебать.



Питекантропы в Пинакотеке,  
Орангутаны в Оранжерии.  
Дух птеродактиля в человеке:  
Гиббон в вертолете, смотри.

А там, в реакторах, изотоп  
Урана, гелия. Снова — опыт.  
Смотри: Акрополь, питекантроп,  
Летающий ящер, темный робот.

Реакторы, роботы. Не дразни  
Горилл, мандриллов, крокодилов.  
Плутон, Урания. Мы в тени  
Их страшных царств, их царств немилых.

И скоро в ракете астронавт  
Уже троглодит взлетит насытый.  
И скоро увидят следопыты  
Плезиозавра, бронтозавра.  
Уран, плутоний. И троглодиты.  
И термоящерица завтра.



Таракан Тараканий Великий, властелин пауков и  
лемуров,  
 Шел войной на лангуста Лангуста, властелина  
мокриц и мандрилов.  
 Над рядами кротов или крабов сто вампиров  
топорщились хмуро.  
 Рассветало. Был снег на равнинах. И сердце томилось.

Тараканий, шевеля усами, осуждал теорию квантов.  
 Лангуст, шевеля усами, поучал, что важней —  
квантаны.  
 О, как трудно дышать! Сколопендры в темнеющем небе.  
 Густо падает снег. Чье-то сердце лежит на сугробе.

Уже уносило в жерло расширяющейся вселенной,  
 В черной пустоте кружило Таракана, Тамерлана,  
Лангуста, Ксеркса.  
 В конусе небытия Тарантул вращался, пленный.  
 Два огненных дикобраза вертелись, грызясь из-за  
сердца.

Только мы отдыхали одни в отвратительном царстве  
Эринний.  
 И на сомкнутых веках твоих были пепел, и слезы,  
и — иней.



Ну и ну, ну и дела, как сажа бела, трала-лала.  
А ночь светла, а коза ушла, эх, бутылочка по  
жилочкам по-те-кла.

Ушла коза от козла. Ушла. Куда? В Усть-сы-сольск.  
Не в Усть-сы-сольск, так в Соль-выче-годск.

Ау, моя коза. Чепуха хандра. Ха-ха, ха-ха.  
Эх, гали-мать-я.  
А ну и луна же. Во всю луна. Хандрит она, что  
она одна?

Сто грамм забытья. Двести грамм забытья.  
Хотите вина, мадам Луна?

Там Близнецы. Там Козерог. С козой, без козы?  
Там Водолей.  
Налей, налей, бокалы полней, козу вините в  
смерти моей.

Ну и тишина. Нальем Близнецам.  
Нынче здесь, а завтра — тамтам.



Мертвый вялый туман,  
кокон печали и скуки,  
серый огромный кокон,  
где стынет личинка рассвета,  
куколка полдня.

Что делать, если душа  
молчала так долго,  
что на губах ее сплел  
паук паутину?

Что делать, если сердце молчит  
мертвой трихиной?



На остров Цитеру. Выпьем в пути.  
 Ну что? Цикута в бокале?  
 И горький миндаль. Миндаль? Почти  
 Цианистый калий.

Да нет уж, — хватит яда в крови:  
 Ее не раз отравляли  
 Остатки надежд, крупницы любви,  
 Сухие кристаллы печали.

А в печени камень. Осадки души  
 В таком, ха-ха, минерале.  
 А где самородок счастья? Ши-ши.  
 В Австралии. На Урале.

«Житейское море» катит куски —  
 Янтарь? Едва ли, едва ли.  
 Обломки желаний, сгустки тоски.  
 Мелочь. Детали.





Дни мои, бедная горсточка риса...  
Быстро клюет их серая птица.  
Мелкий стеклярус кустов барбариса  
К позднему утру весь испарится.

Осень. Валяется блеклая слива  
В грязных остатках бывшего ливня.  
Как ей в грязи тускловатой тоскливо!  
Если б могла — она бы завыла.

Ну а солдатом (а пули-то низко)  
В луже валяться? Страшно и слизко.  
В черном болоте, как черная крыса...

Дни мои, бедная горсточка риса.



А ты размениваешься на мелочь,  
 На пустяки, по пустякам,  
 И головней дымится тусклый светоч,  
 Который мог светить векам.

Ну что же: невезенье, омерзенье,  
 И муха бьется об окно,  
 Опять попытка самосохраненья,  
 Хотя, казалось бы, — смешно.

О, позабудь житейский хамский хай  
 И стань сама свободой и покоем.  
 Ты мелкая? Не льешься через край?  
 Но — расцвети, белей, благоухай,  
 Душа, не будь лакеем, будь левкоем.



Consume my heart away; sick with desire  
And fastened to a dying animal  
It knows not what it is.

*William Butler Yeats\**

Живу, увы, в страдательном залоге.  
(«Бессмертья, может быть, залог»?)  
Не жизнь — смесь тревоги и — изжоги,  
Туманный яд, холодный «смог».

Да, да, сегодня красная погода,  
Да, презеленая, отстань.  
Делишки и делишечки, простуда,  
Больная, сломанная тень.

Но — русские авоси да небоси,  
Всё — ничегошеньки, пройдет.  
Серее небо, холодеет осень.  
А скоро — иней, скоро — лед.

...Кто смотрит? Искупитель? Искуситель?  
Неясный нимб... Да нет — луна...  
И не о чем, и незачем, простите...  
«Луна — бледна». «Весна — красна».



\* Сожги мне сердце: утомленное желаньем,  
Оно к животному, которое умрет,  
Прикреплено; оно себя не знает.

*Уильям Батлер Йейтс*

...um das herz wölbt sich ein singender himmel  
 doch seinen liedern dürfen wir nicht glauben...

*Hans Arp\**

Загуляй ты, выпей полдиковинки,  
 Целовать кидайся целовальничка,  
 Надивись на дивные штуковинки,  
 На девиц-красавиц балаганчика!  
 Барабанщики там и бубенчики,  
 А на лбу серебряные венчики.

Суматошливо-то, скоморошливо,  
 Без горючих слез, пляша-играючи,  
 И ни будущего, и ни прошлого,  
 О голубушки мои, не знаю чьи,  
 Было давеча, стало нонече.  
 Пляшут ангелы, скинув онучи!

О, немножечко хоть, Боже наш, немножечко —  
 Ах, да что же, мужичку уже неможется.  
 Хоть машинка заливаается натужная,  
 Да слезинка наливается жемчужная:  
 Где ж ты, нежная царица Шемаханская?  
 Эх ты жизнь, как говорится, арестантская!



\* ...над сердцем купол певучего неба,  
 но песням небесным лучше не верить...

*Ганс Арп*

Да, расчудесно, распрекрасно, распрелестно,  
Разудивительно, развосхитительно,  
Разобаятельно, разобольститительно,  
Не говори, что разочаровательно.

Но как же с тем, что по ветру развеяно,  
Разломано, разбито, разбазарено,  
Разорено, на мелочи разменяно,  
Разгромлено, растоптано, раздавлено?

Да, как же с тем, кого под корень резали,  
С тем, у кого расстреляны родители,  
Кого растерли, под орех разделали,  
Раздели и разули, разобидели?



Помню изгородь, помню жимолость,  
На крыльце серебристую изморозь,  
А на окнах — морозную живопись.

Это память плющом цепляется,  
А стена — завалилась, заляпана  
Черной известью, шлаком, слякотью.

...Поплыли дымки — гуси-лебеди,  
И домашний очаг — бомбой вдребезги:  
Ну, друг Иов, живи — в страхе-трепете.

Дым не хуже был, чем у Авеля...

О дыхание дымного ангела  
Там, где армия жгла и грабила!



## БОЙ БЫКОВ

... бросаясь за вертлявым пикадором...

*Николай Асеев*

По сумрачно-желтой арене бессмысленно скачет —  
Ну что, обреченный, израненный, черный, священный?  
О, взлеты пурпурных плащей над твоей незадачей  
И свет золотого камзола (и точность движений).

О, смерть в розовато-сиреневых ярких чулках  
И яркие синие туфли — и точность их шага,  
За желтой изнанкой плащей — золоченый рукав.  
И вот уже кончено, бедный, — последняя шпага.

Так жалко упал на пятнистую охру земли.  
Как лилии, стрелы росли из кровавого бока.  
За хвост привязали и стремительно поволокли —  
Поспешно, позорно, — позорно, поспешно, жестоко.

А впрочем, к чему красноречие? Двадцать минут  
Тобой занимались, тебе оказали внимание.  
Зачем обижаться? Другие и хуже умрут.  
А я — поживу. До последнего, брат, издыхания.



Была вечеринка в аду. И с бутылочкой рома  
 Склонялся Иуда к чертенку с лицом херувима.  
 И Каин скучал подле черной дьявольской кухни.  
 «Святому Георгию» пели драконы «Эй, ухнем»,  
 И демоны выли «Те Деум» среди гама и дыма.

И серые тени змеились у лодки Харона,  
 И теням туманным показывал фокусы Хронос,  
 И чья-то душа, разжиревшая черная такса,  
 В зеркальной стене отражаясь, прилипла к паркету.

И мы танцевали на темных волнах Флегетона,  
 И черный оркестр погружался в мерцание Стикса,  
 Огромные люстры летели в застывшую Лету.  
 Все, кажется, ждали Христа. Нет, конечно, не ждали.





Акакий Акакиевич,  
шинель — «тово»!  
Петрович покачивает  
седой головой.

Во граде Петровом  
черный утюг.  
Петрович, Петрович,  
шинель — тю-тю!  
Навек тю-тю, навсегда тю-тю!  
О, если бы чудо — я чуда хочу!

Ворона покаркивает.  
Могилы. Снег.  
Акакий Акакиевич,  
шинель — шут с ней!

Не стоит искать, тосковать, бунтовать:  
в обитель небесную мчится кровать.  
В сиянье и славу, в парчу и виссон  
Акакий Акакиевич облачен.

А если и нет — и тогда не беда:  
над ним лебеда, под ним вода.  
«Энергия — в материю!» Всё физика, да.  
Копил, копил, сукно купил. Конец, господи.



## ЭЛЕГОИДИЛЛИИ

Ветер воспоминаний тревожит увядшие письма,  
на острове воспоминаний шумят сухие деревья.  
Призракам, старым, не спится в небесной гостинице ночи.

Там забытое имя ложится на снег синеватую тенью,  
и тени веток сложились в неясную надпись. Я не знаю  
языка загробного мира. Я видел в Британском Музее  
черную египетскую птицу. Вот она — сидит неподвижно.  
Желтый глаз, как маленькая луна. Она более птица,  
чем все птицы на свете.

Вечером на Гаваях я проходил между сучьев  
окаменелого леса. Было безлюдно, мне захотелось  
услышать хотя бы тик-тик моих часов. Но они  
остановились из уважения к вечности. Нет,  
я не намекаю на сердце, я говорю  
о тишине бессонницы, увядших письмах.  
Если зажечь их, в камине будут оранжевые бабочки,  
лазоревые бабочки, синие бабочки, черные бабочки,  
тени забытого имени, маленькие саламандры.



Не кажется ли тебе,  
что после смерти  
мы будем жить  
где-то на окраине Альдебарана  
или в столице  
Страны Семи Измерений?

Истлеет Вселенная,  
а мы будем жить  
где-то недалеко от Вселенной,  
гуляя, как ни в чем не бывало,  
по светлomu берегу Вечности.

И когда Смерть  
в платье из розовой антиматерии,  
скучая от безделья,  
подойдет к нам опять,  
мы скажем: — Прелестное платье!  
Где вы купили его?



Motifs décoratifs, et non but de l'Histoire.  
*Jules Laforgue\**

Черная птица на черном и снежном суку —  
иероглиф печали.

Черный репейник в снегу —  
идиограмма зимы.

Тени, твоя и моя, на белом сугробе —  
граффити молчанья.

Треплются черные ветки кустов и деревьев.  
Как беспокойна  
китайская каллиграфия зимнего сада  
и как беспредметна —  
абстракция света и снега.



\* Декоративные мотивы, а не смысл истории.  
*Жюль Лафорг*

«Мимоза вянет от мороза».  
Но нет мороза. Ледоход.  
Ночь, водянистая медуза,  
В дождливой мозглости плывет.

И, маленькая марсианка,  
Душа в земное бытие  
Глядит, и мокнет перепонка  
На ручке бледненькой ее.

Не плачь, душа! Гляди сквозь пальцы  
(Их целых семь, как лед они)  
На смутно-сумрачные улицы,  
На тускло-мутные огни.

Не лучшая метаморфоза?  
А в прошлой жизни разве — рай?  
О муза, не кончай рассказа!  
Напомни мне! Не улетай!

Не выходи за марсианина!  
С ним не дели любовь и — кров.  
Звучи, мимоза, Мнемозина,  
Как музыка других миров.



Душехранилище хоронят.  
Из группных аминокислот  
Тюльпан с огнем росы в короне  
Над гробом душным прорастет.

Не хромосомы — хризантемы.  
А в небе горы, тень вершин.  
И в том краю, где будем все мы,  
Ты медленно идешь один.

Преображен, неузнаваем,  
Не помня боли и тревог,  
Ночным или вечерним раем  
Проходишь молча, новичок.

Ты слышишь ангельские песни,  
А мы — лишь шум недолгих дней.  
Небесное тебе — небесней.  
Земное нам — еще земней,

Еще больней — или милее?  
Еще дороже каждый час?  
Не суета, а суть... Аллея,  
Могила. День почти погас.



В ожидании окончания,  
Окончания «представления»,  
Ты смотрел на море вечернее,  
В полутьму молчанья печального?

Золотистое, серебристое  
Опускается в море мглистое.  
Вот была Атлантида, кажется.  
Под водой она, не покажется.

Ты глядел на вазы этрусские?  
Где этруски? Лишь вазы узкие.  
Как, любезный друг, самочувствие?  
Все умрем — этруски и русские.

Всё на свете только предвестие,  
Всё на свете только предчувствие,  
Что в холодный пласт, в струи тусклые...  
Ну а вазам — вроде бессмертия.  
Но бессмертия это — грустное.



Лилась виолончель, как милость или чудо,  
Но отравили звук усталость и простуда.

Я Пушкина читал, но голова болела,  
И сладость нежная не победила тела.

Был океан, закат, но... ныла поясница,  
И не могла душа сияньем насладиться.

О, тело смертное. Но больше не прикажет  
Мне ничего оно в наджизненном пейзаже,

Где слухом неземным и зрением нездешним  
Я буду жизнь ловить... в молчании кромешном.

А может быть — глухой — слепой — без чувств,  
без боли,

Как мертвый эмбрион в холодном алкоголе?





Ни в коем случае, ни в коем случае,  
Хотя случалось и случается,  
Что сероватое, певучее  
На ветке тонкой покачается —

И почему-то получается,  
Что не выветривается из памяти  
Тот ветер у церковной паперти.

И тополя переливаются,  
Струится ива там, у Припяти,  
И горе преодолевается.

Душа легко переселяется  
В далекое, бывшее (лучшее?),  
В тот полдень, выбранный из прихоти,  
В лучи и тучи, в то, летучее...

Но всё случайно, в лучшем случае.



- «Документально и фактически
- »Доказано фотографически,
- »Детально, дактилоскопически:
- »Мы жили в Ейске, после — Витебске,
- »Сидели в Полоцке и Липецке.
  
- »Не знают в уголовном розыске,
- »Что жили мы с тобою — в Божеске,
- »В Богочертовске, в Новодьявольске
- »(Кормились песенкой — о яблочке),
  
- »Что распевали «Вдоль по Питерской»,
- »Гуляя у снесенной Иверской,
  
- »Что жили в Райске, Адске, Ангельске
- »(Там снег белее, чем в Архангельске),
- »Что спали на снегу — на Витебской —
- »В Верхнеблаженске и Мучительске...»



But the caverns are less enchanting to the unskilled explorer.

*Ezra Pound\**

Зачем, скажи, ты терпишь холод грубый,  
 Не рвешь серебряную нить,  
 Скрипач усталый, друг печальногубый,  
 Кого надеешься пленить?

Кто слушает? Кто вслушается в пенье,  
 Поймет мелодию твою?  
 Один смычок целует в восхищенье  
 Струну, певучую струю.

Ну что ж, мечтай, что там, у страшной двери,  
 Где вьются тени средь теней,  
 Увидишь ты, как тихо внемлют звери  
 Жемчужной музыке твоей.

Орфея-то, признаться, растерзали...  
 Забудь — легенда, не беда.  
 А нас, напротив, — по плечу трепали!  
 (И жизнь нас — потрепала, да).



\* Но непосвященному меньше расскажут пещеры.  
*Эзра Паунд*

«Поэты – бессмертны...» Светлело, неярко,  
Над лондонской маленькой Мраморной Аркой.

Ты спорил о славе у края Гайд-парка,  
Где Байрон – а может быть, это Петрарка?

Бессмертье поэтам? А если ни жарко,  
Ни холодно им от такого подарка?

...Там дальше Вестминстер, аббатство, где лица  
«Бессмертных» поэтов... Но мрамор пылится,

И Шелли не видит, что – солнце, что птица  
Летит над аббатством и воздух струится.

...А в греческой урне, любимице Китса,  
Не сердце, а мертвое сердце хранится.



Мы говорили о свободе воли,  
О Зле и о Добре мы говорили,  
О Боге, и о смерти, и о счастьее  
(И снежное повечерело поле).  
Мы говорили об Экклезиасте,  
О карме, Достоевском и Эсхиле.

Мы принимали белые пилюли,  
Усталые лежали на постели.

Мы думали о том, что постарели,  
Что было в жизни очень много боли.  
Мы говорили... о свободе воли.

И доброго мы ожидали знака  
От зимних звезд, от знаков Зодиака.



Только ветер пролетит, пойдет широко,  
Над Онегой, а потом — над Окой.

Только свет на непрозрачной тугой волне  
Покачнется над ершом в глубине.

Только золотом пальнет отряд пескарей,  
Только облако пойдет поскорей,

Или утки к селезню подплывут,  
Он блестит, зеленый — ну изумруд!

(Сочетание в реке утиных теней  
С отражениями русских церквей.)

Надо бы хоть уткой туда доплыть.  
Ну да что говорить, о чем говорить!

Сказано — нет, и — сколько лет, сколько лет!  
Нет и нет, а на нет — и суда нет.



## ПОЛУОСАННА

Светлые белые горы —  
метаморфоза музыки,  
и воздух воскресного белого, снежного полдня —  
прозрачный кристалл тишины.

Как много задумчивой мудрости  
в снежном безветрии.  
Белеют сугробы, большие аккорды покоя.  
И солнце нисходит.

...Потом, перед самым закатом,  
косые лучи, серебристые легкие флейты,  
играют прелюдию вечности.



Я помню телеги в полях предвечерних  
И глину дороги в возне воробьиной,  
Эстонское небо, осенний орешник,

Грибы и чернику, сухой можжевельник  
И мелкий ручей, серебристый, недлинный,  
Сияние сосен, прямых, корабельных,

И вереск, лиловый, и желтый бессмертник,  
И желтый закат над эстонской равниной,  
И линию лодок — вечерних, последних.





Туманный жемчуг, осенний день.  
Мутна земная дребедень.

Мерцает нежная тишина,  
Больного мужа бранит жена.

Серебрится дождик райски-легко,  
Идет прохожий с одной рукой.

Сиренево-палевая высота.  
Спешит счетовод считать счета.

И в мире бедной белиберды  
Блаженно-влажные сады,

Алмазы дождя и фонарей,  
Жемчужный ветер с южных морей,

В топазовом небе свет облаков,  
Опалово-нежный дым над рекой.



Тогда смиряется души моей тревога.  
*Михаил Лермонтов*

Особенно когда осенне-одинок,  
И облако лежит покойно и широко  
У края светлого юго-востока.

Особенно когда осенне-опустело,  
И озеро серей, и медленно и бело  
Поднялись гуси, точки для прицела.

Особенно когда осенне-обреченно,  
И озими влажны, и сизая ворона  
На поределом оперенье клена.

Особенно когда совсем обыкновенно,  
Едва озарено, и чисто, и смиренно,  
Прозрачно и прощально, незабвенно.



Был океан лазурно-фиолетов,  
И это было, может быть, ответом.

Был небосклон почти такого цвета,  
Как цвет акации прохладным летом.

Переходило небо в тон опала,  
И это — тоже, как-то, утешало.

Была вода в графине и бокалах  
Собранием сияющих кристаллов.

Горсть виноградин, нежных изумрудин,  
Как светляки, мерцала нам на блюде.

Тебе не жалко, что и мы забудем  
Цвета, ненужные серьезным людям?



И мириады звезд, и мириады лет,  
И тишина с небес, и серебрится свет.

И только этот мир, и только эта ночь,  
Когда ручей с горы — как замерцавший луч.

И полусвет лежит, как синеватый снег,  
На темноте полей, у серебристых рек.

И озаренный мост, и почернелый холм,  
И за холмом, в луче, автомобильный хлам —

Я не забуду, нет, я не хочу забыть.  
Я не позволю, нет, меня навек зарыть,

Пока мерцает ночь, пока светает здесь,  
Пока и тень и свет на белом свете есть.



Уже огороды не стоит стеречь,  
И сияние меркнет скорей  
(И девался куда-то последний скворец).  
На дубе листва продолжает стареть.  
Посияй же, останься, согрей!

Мир становится сух, прозрачен и ветх.  
Он уже осыпается весь  
(Начиная со звезд). Недолгий век  
У вселенной, у нас, у всех.  
Скоро — мгла, это грустная вещь.

Да нет, я шучу. Да, дружище, я лгу.  
Тошно слушать даже щеглу.  
Он построил жилище, возился в углу  
Мироздания, пел (о цветах на лугу) —  
Что ты шамкаешь глухо про вечную мглу!?

И скворешню старик водружает на жердь  
(Размышляя про жизнь и смерть).



А белая птица так низко летела  
 Над собственной маленькой тенью  
 (Сравненье: душа и бескрылое тело),  
 Над белым песком и над пристанью белой  
 В далекое то воскресенье.

И лодка, сколоченная из обломков  
 Далекого детства, синела  
 От моря и неба, легко, как соломка,  
 Плыла в позабытое царство ребенка,  
 Качалась — и странное дело:

Та лодка таинственно переплывала,  
 Причаливала, приземлялась,  
 И маленький мальчик по имени Игорь  
 Из давнего года, из давнего мига  
 На миг возникал, проясняясь.

Овальную раковину отыскал он,  
 Большую, на отмели серой,  
 Послушал: в ней глухо звучало, дрожало,  
 Текло, отзывалось — невнятным сигналом —  
 И было похоже на сердце.

Тот берег в сиренево-серенькой пене...  
 Сияло, текло, холодело.  
 Из царства ребенка, из царства забвенья...  
 Как будто душа в тишине пролетела  
 Над собственной маленькой тенью.



Гиацинтом, левкоем  
Насладиться спеши  
Перед вечным покоем  
Для безносой души.

Нежный персик попробуй,  
Он дозрел и готов,  
А в раю уж не трогай  
Запрещенных плодов.

Видишь, алые пятна  
В нежно-бледном горят.  
Там, в стране незакатной,  
Не увидишь закат.

Ах! Отравленный скверной,  
Под конец воспою  
То, чего уж наверно  
Не позволят в раю.



Знаешь, я сохраняю  
собрание летних полдней,  
полупрозрачных, точно стрекозы,  
которые, помнишь, носились  
в радостном блеске света  
над яркой мелкой речкой  
с белым прохладным дном.

Представь, я также храню  
коллекцию летних ночей  
разных оттенков синего.  
Они лежат,  
похожие на египетские скарабеи,  
за прочным прозрачным стеклом.

Что с ними делать?  
Кому я их завещаю?  
Они понемногу бледнеют.  
Мои гости считают,  
что там, за стеклом,  
пустота.





Je possède une barque détachée de tous les climats.  
*André Breton*\*

Играет ветер листами газеты  
В твоей руке и краем программы.  
Ты знала и знаешь — это приметы  
Того, что ангелы рядом с нами.

Плывут по небу две бледные ленты —  
Белесым дымом слова рекламы.  
Они обрывки воскресной программы —  
Концерта ангелов над нами.

Уже облака сияньем задеты  
И светлы дали земной панорамы.  
И, точно ветер, плывут силуэты  
Лазурных ангелов над нами.

Играет ветер листами газеты,  
Играет крыльями над нами.



\* Превыше земных сезонов плывет мой челн.  
*Андре Бретон*

В такую ночь весна не окончательна,  
Но наступает несомненно.  
Дождь побелен снежинкой незначительной  
И кажется небесной манной.

А впрочем, ночь — почти обыкновенная.  
По лужам, лунной мглой покрытым,  
Шагаю. Но Земля Обетованная  
Недалеко, за поворотом.

Ты думаешь, бессмертие неубедительно?  
Но что же делать, что же делать?  
А вот душа — задумалась мечтательно:  
Надеется на Божью милость.

И человек на Бога вдруг положится:  
Все просто, не непоправимо.  
И замерцает мартовская лужица  
Звездой далекой Вифлеема.



Из белой весенней ночи  
Сделана ваша душа.  
Она в моей отражалась,  
Как маленький Млечный Путь.

Туманностью Андромеды  
Хотелось обеим стать.  
Но кончилось тем, что стали  
Души туманом ночным.

А помните, птицы летели  
Сквозь души наши весной?  
Сияли утро и море,  
Вода становилась огнем.

Я сказал ваше имя, и в море  
Вырос певучий цветок.  
Я почти изобрел, я знаю,  
Заменитель вечности — и

Той ночью душа светилась,  
Как маленький Млечный Путь.  
Я думал о белой ночи,  
В которой ваша душа.



Прощайте, Кошей Кошеич!  
Еще кошее Кошея  
Средь пищи, вещей и чая  
Пишала тощая шея,  
Несчастье нам завещая.

Но светлые чародеи  
Умчали нас в эмпиреи,  
В лазурно-смуглый Египет  
Династии Птолемеев,

В алмазный воздух Памира,  
В страну Лиловых Пигмеев —  
О, мы улетели в лепет  
Земфиры, зефира, эфира!

На мгле, на волшебном кристалле,  
На пламени мы улетали!

В лазурном и лунном небе  
Нашли мы Царевну Лебедь,  
Чертог изумрудной игрушки,  
Прекрасной Царевны Лягушки!

Прощайте, Кошей Кошеич!  
Здорово, Иван Царевич!



Арабским удивительным дворцом,  
игрой узора бледно-розовато-  
сиреневато-сизого, замысловатой  
игрой любуюсь...

Но, усталый соглядатай,  
я видел девушку с особенным лицом.

Слепая девушка ходила подле нас  
с водительницей, объяснявшей очень скоро,  
и осторожно трогала она  
сиреневатый край узора.

Но что наказанная слепотой  
могла узнать о нежной, о нежнейшей  
утонченности той, изысканности той,  
искусственности той, изнеженности той?  
Был взор слепой, слепой, слепейший.

И я мечтал о том, что снидет Царь Царей  
в сиянии, в алмазном свете,  
что вóт — Он исцелит, что Он велит прозреть,  
дабы узреть,  
узреть узоры эти!



Ловите рифмы – невидимки...

Давай походим по дивным музеям,  
 где пышные чаши времен Возрождения  
 (агат, хризолит, сердолик)  
 пламенеют (большие тюльпаны)  
 и перламутрово-переливчатая лазурь  
 обыкновенного египетского трехтысячелетнего стекла  
 похожа на вечность.

Мы тоже владеем  
 остатками прежнего вдохновения,  
 когда глядим на прекрасный каменный лик  
 мученика, на узорчато-золотые Кораны  
 или короны тиранов (следы «исторических бурь»)  
 Короны. Не кровь и не слезы, ни капельки зла:  
 алмазно-рубиновый венчик.

Мы даже прощаем злодеям  
 на картине (работе, быть может, не гения)  
 за отблеск на нежно-сиреневых складках, за светлый  
 родник,  
 за блекло-оранжевые (с бледно-синим) кафтаны  
 на двух палачах, за топор, над которым лазурь,  
 за острую лилию – так она дивно бела! –  
 за венчик, за вечность.



Как большая темная миндалина,  
У певицы мандолина.  
И глаза — миндальнее миндального.  
Музыкантша уличная, дальняя:  
Флорентинка, синьорина.

И мелодия сентиментальная  
Всё прозрачней и печальней,  
Всё нежней, вечерней и усталее.  
Всё — певица, пьядца, вся Италия  
Всё хрустальной и прощальной.

И видна — незримая — зеленая  
Озаренная долина  
(Не Италия, скорей Инония),  
Где поет счастливая, прощенная,  
Неземная Магдалина.



Удивительно, как удлинен  
Голубой силуэт минарета.  
О, высокий расчет и закон,  
И высокое царство колонн,  
И объемы из тени и света!

Золотисто-зеленая вязь  
Синевато-лазурных мозаик,  
А на улице мулы и грязь  
(И лазурная муха впилась),  
И глаза малышей-попрошаек.

Гадит голубь на пыльный порфир,  
Лепестки устилают ступени.  
Царство грязи и царство сирени,  
И стоит гармонический мир,  
Композиция света и тени.





В огромном, царственном, торжественном саду,  
Склонясь к лиловому тюльпану,  
К пурпурным ирисам... Ни про мою беду,  
Ни о твоей беде — не стану.

Здесь фиолетово-сиреневый нарцисс,  
Так ярко мотылек желтеет,  
И солнце золотит воздушный кипарис  
Геометрической аллеи.

Здесь роза клонится тяжелой желтизной,  
Пион багряно-фиолетов,  
И все равно, что этот пышный зной —  
Над усыпальницей скелетов.



Тем более, что так недолговечно-розово  
 (На мимолетно-золотистом) —  
 Непрочным волшебством заката позднего,  
 Мерцанием, зелено-смутным, озера,  
 Лучом, разлившимся по листьям...

Тем более, что скоро ночь, но тем не менее  
 Раскрылись розы, точно от прикосновения,  
 В японском садике, где ручейки с пригорка.

Прохладным сном — в Японии? В Армении?  
 В Норвегии? — Неслышным ветром синего фиорда  
 (И полночь, будто синее растение)...

О, восхитись, хоть ими, на мгновение!  
 Мне захотелось не иронии, а пения,  
 Волшебного-дивного восторга.





Тополь полон волненья, и липа звучит, как лира.  
 На яблоке и на облаке ясный  
 Отблеск золота вечности.  
 Сердце, как бутон розы, раскроется скоро  
 От лазурной музыки мира.

Около озера ирисы, белые ибисы  
 (Точно маленький беленький архипелаг);  
 На светлом песке бело-сизый птичий помет.  
 А в небе жаворонок, будто якорь блаженных минут,  
 В светлую вечность закинутый якорь.

Ты ела изюм, золотистый, словно янтарь.  
 Твои зрочки были мелкие черные жемчужинки.  
 Завитки, как черный гиацинт, чернели над шеей.

Память! Навеки, точно голубенькая татуировка,  
 Знак на душе.



Нежный неясный дождь, как легкое забытье. Но уже  
Полупрозрачные крылья дождя почти отшумели.  
Сильный запах цветов, точно смутный настойчивый  
шепот.

Если бы эти таинственные тридцать минут  
Остались в вечности (мелким жучком в янтаре),  
Но нет, они пролетели неизвестно куда,  
Эфемериды, метеориты, прощайте.

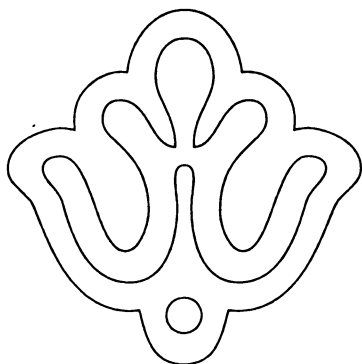
Какая она, огромная, темная фреска жизни?  
Вместо нее – мелкие фрагменты орнамента,  
А душа – душа уже вечереет.

Если бы знать химическую формулу души,  
Может быть, можно было бы что-то исправить,  
А так... Слушай, ты веришь  
В темную мифологию счастья?

В общем, мы плохие алхимики. Все же, видишь,  
в руке у меня  
Тускловатый кусок философского камня печали.



# ПАСТОРАЛИ



О, сколько жизни было тут,  
Невозвратно пережитой!

*Федор Тютчев*

Сильнее, приятнее венузинца звоны,  
Но я твоим говорю языком счастливым.

*Антиох Кантемир*

*Говорила Муза:*

*Многим ты*

*Любовался: морем, розой, птицей.  
Красота... За нежные цветы  
Думаешь над бездной уцепиться?*

*Не спасешься. Бездна — суждена.  
Но пока — из чувства и — искусства  
Приготовь-ка сладкого вина,  
От которого приятно-грустно.*

*Ты узнал «на жизненном пути»,  
Что бывают в мире диссонансы.  
Что ж? и диссонансы преврати  
В нежно-элегические стансы.*

*Да, не без иронии порой,  
Звуками и красками играя,  
Утешай поэзией-игрой,  
Радужной сонатой полурая.*

*О прекрасном, нежном — о любви,  
О весне — ведь не одни печали —  
Напиши нежнее, назови  
Книжку сладко-сладко: «Пасторали».*





Все глазами взять хочу я  
Из темнеющего сада.

*Иннокентий Анненский*

Был южный сад. И птицы — самоцветы,  
Как фейерверк, как пышные ракеты,  
Почти затмив закаты и рассветы,

Сияли. Я залюбовался пиром —  
Рубином, изумрудом и сапфиром,  
Живым, живым, но непонятным миром.

И всё кричал пернатый царь — с восточной  
Гортанностью, — стоявший одиночкой,  
Лазурно-желтый, с черной оторочкой.

А птичка розовато-голубая,  
Головкой утвердительно кивая,  
Твердила, что она — из Уругвая.

Я отвечал: я тоже издалёка,  
Из края, где береза и сорока  
И снег лежит широко и глубоко;

Но в край иной придется удалиться  
И надо поскорее насладиться  
Игрою красок, маленькая птица.



All I have is a voice.  
*Wystan Hugh Auden*\*

Может быть, навек запечатлеется  
Впечатление и настроение  
Вечера, когда снежок белеется;

Передать бы тихое спокойствие:  
Кажется, и шевельнуться лень, и я  
Медленно слежу за тенью двойственной.

Тихо так, что вечер вроде вечности.  
Но кусты, еще вчера осенние,  
В инее до самой тонкой веточки.

Дождь прошел вчера, но эта лужица,  
На которой возникаю тенью я,  
Поутру обледенеет, сузится.

В этом парке тихо удивительно.  
Статуя белеет привидением —  
Или, может, Ангелом-Хранителем?

Сохрани меня. Далеким вечером  
Кто-то будет жить моим мгновением,  
В этих вот словах увековеченным.



\* Все, что есть у меня — это голос.  
*Уистен Хью Оден*

...влечет мя на похваление  
и на плетение словес...

*Етифаний Премудрый*

Голубоваты, чуть сиреневаты  
Большие комья царственных гортензий.  
Крылатый мальчик держит пышный вензель,  
И пестрый голубь – ангел Фра Беато.

Забудем в полдень, птичий и пчелиный,  
О бедности, о смерти и болезнях,  
Смотря на праздник солнечный глициний,  
На пальцы рук богининых прелестных.

И в яркой мгле пруда пылают рыбы,  
Как листья купины неопалимой.  
А там, в аллеях, розовые дымы,  
Как отсвет горнего Ерусалима.

Да, милый друг, почти осанна в вышних!  
Почти простить, благословить готов  
В сиянье солнечных, могуче-пышных  
Июльских олеандровых садов.



Каждый листик надеется стать соловьем,  
 И минуты хотят опадать лепестками.  
 Персик, розовый персик — летать снегирем,  
 Валуны — вдалеке проплывать облаками.

Хочет елка быть Ладой древних князей,  
 Ярославной в Путивле за мужа молиться,  
 И хотелось бы маленькой детской слезе  
 Стать жемчужиной дивной на шее царицы.

Хочет вечер безлунный стать «Песней без слов»,  
 И цикады мечтают: они — Геспериды.  
 О, волшебник Искусство! Лишь несколько слов —  
 И Плеядами станут земные акриды.

И колючки на розе — лучами. О да!  
 Посмотри: только несколько жестов артиста,  
 И морская звезда — Голубая звезда,  
 И медуза, как чайная роза, душиста.



Сердце сожмется — испуганный ежик —  
В жарких ладонях невидимых Божьих.

Ниточка жизни — лесной паутинкой,  
Летней росинкой, слезинкой, потинкой.

Листья в прожилках, как темные руки.  
Время грибное, начало разлуки.

Лично известный и лесу, и Богу,  
Листик летит воробьем на дорогу.

Вот и припал, как порой говорится,  
К лону родному, к родимой землице.

Крыша, гнездо. И стоит, будто аист,  
Время твое, улететь собираясь.

Скоро в ладонях невидимых Божьих  
Сердце сожмется — испуганный ежик.



На окраине города, ночью, в Европе...  
Одиссей из России, — вернись к Пенелопе!

Огоньками большой неукрашенной елки  
В темной комнате — кажутся звезды. И смолкли

Порыванья дождя над волнением канала —  
Точно русская роща шуметь перестала.

Тянет сыростью, вечностью, ночью, забвеньем  
С неподвижных полей. Друг мой, чем мы заменим

На короткое время те русские церкви  
(Точно тонкие свечи под ветром померкли),

Потемневший Детинец над темной рекою,  
Углич в синем снегу, отошедший к покою,

Крестный ход, огоньки у Бориса и Глеба,  
Темный запах овчины, и дыма, и хлеба?



Как люблю я, вечные боги,  
прекрасный мир!

*Михаил Кузмин*

О да, по той простой причине,  
Что солнце заливало дом,  
Что даже галка на рябине  
Сидела солнечным пятном,

Что понемногу вечерело,  
Что тени делались длинней,  
Но отблеск был на даче белой  
С тобою проведенных дней.

О да, по той простой причине,  
Что ветер был совсем ночной,  
Что стало поздно, тихо, сине,  
Что было прошлое со мной,

Что сердце накопило жалость,  
Пока звенели провода,  
Пока в заливе отражалась  
Тебе светившая звезда.



L'oiseau boit sur ta bouche et tu ne peux le voir.  
*Paul Valéry\**

Уже летают предсмертные птицы,  
И машет страусовым пером  
Огромная черная колесница,  
Но мы играем и живем.

О, так беспечно и небрежно,  
Так легкомысленно и светло,  
О, так прекрасно, прелестно и нежно  
Твое последнее тепло!

Наверно, отплытие отложат —  
Нам неохота отплывать, —  
И черный парус вернется, быть может,  
Без нас в сереющую гладь.

И мы, живые, хоть ненадолго  
Останемся среди живых —  
На светлом лугу, где белая тёлка  
Кусает клок зеленой травы.



\* Птица пьет с твоих губ, и ты не видишь ее.  
*Поль Валери*



Я тебя «рисовал на песке».  
Ну и сдунуло ветром. Что делать.  
На холодном сухом ветерке  
Две слезинки, соленая мелочь.

«Здравствуй, утро!» (Лишь сердце твое —  
Темный камушек, сгусточек ночи.)  
Жить, работать. Житье — забытье.  
«Память сердца», давай покороче.

Ну, «счастливо». Ну что ж, я пойду.  
Сам с собой пошучу: успокоит.  
Вот и астра тоскует в саду:  
Влюблена в голубой астероид.

Астероид, прощай. Птичий писк —  
Это значит, по-птичьему: сжальтесь!  
След улитки слегка серебрист:  
Млечный Путь на холодном асфальте.



Кто душа твоя? Изольда? Дульцинея?  
– Незнакомка, невидимка, неслышимка.  
Скоро утро, станет проще, холоднее:  
Улыбнемся, поцелуемся, простимся.

Губы, губы, темно-розовые шелкопряды,  
Выпрядите нескудеющие нити.  
Не жалейте незаслуженной награды –  
О, прижмитесь, поцелуйте, говорите.

Мягкий рот – как теплый, сладкий красный  
перец.

Милый рот певучий, алый, не накрашен:  
Сладкопевец, запоздалый псалмопевец,  
Пой о нежности, о сладости, о нашем.

Ничего и не узнали друг о друге,  
И в глазах, неясных, искорка и дымка.  
Где душа твоя? В аду? В котором круге?  
– Незнакомка, невидимка, неслышимка.



Эгейский ветер, шорох слабый  
Как будто издавна знаком.  
Как в море маленькие крабы,  
Часы бегут бочком, бочком.

В корзине шевелится рак,  
Тенистый дворик — вроде сада,  
И под навесом полумрак  
Курчавых кружев винограда.

Уже созрелый виноград  
Ласкают пальцы Навзикаи,  
И пьет вино Алквиад,  
Из дали светлой возникая.

А после — комната и мгла,  
Ременный пояс, теплый мускул,  
Тот запах пота и тепла  
(Отчасти уксус, больше мускус).

Как Телемах, как Ипполит,  
Как тонкий профиль Александра.  
И счастье легкое лежит —  
Соломинка и саламандра.



Пушок на щеке — почти абрикосик.  
 Ты зорька, радуга, херувим.  
 На песке у моря, светлая осень,  
 И мы не скажем твоим родным.

И разве возможно не соблазниться  
 Прелестью этой, смуглым теплом,  
 Когда загорелая ключица  
 Мне кажется ангельским крылом?

И разве правда, что нужно расстаться?  
 Не расставаться нас научи!  
 И волосы слегка золотятся,  
 Как будто крохотные лучи.

На апельсины похожи колени,  
 Только цвет их милый нежней, нежней.  
 И кажется осень такой весенней  
 От света этих нескольких дней.

Так Ева с Адамом, в розовом зное,  
 В сиянии райского тепла,  
 Кусали яблочко наливное,  
 Счастливые, не зная зла.



Оранжево-розовые фламинго —  
Почти не птицы, скорей цветы.  
Стоят над озером и тропинкой  
Частицы нежной красоты.

Они похожи на тонкие ноты,  
Как будто музыка от них.  
Блаженно-розовые длинноты —  
Как будто зов миров иных.

Бывают ли души такого цвета?  
Не в адском огне, а в том краю,  
Где, как во Флориде, вечное лето,  
Но все интересней: в «том» краю?

На длинных ногах стоят и ходят,  
Как легкое пламя — гляди — горят  
И понемногу переходят  
В оранжево-розовый закат.



Всё глупостями занимаемся,  
О пустяках всё беспокоимся —  
А между тем какое таинство,  
Какое небо нам откроется...

Ты посмотрела недоверчиво  
На смутное ночное облако.  
В нем не было ни капли вечности.  
Одна звезда висела около,

Похожая на каплю светлую,  
А может быть, ее и не было  
Уже, и только давний свет ее  
Еще мерцал с большого неба нам.

(P.S. Но ей, как я, симпатизировал  
Светляк — и каплей запоздалой  
Земной ответ сигнализировал  
На те небесные сигналы.)



В яркой и знойной Флориде  
(Нет, не в раю, не в аду)  
Странную птицу я видел  
В пышном цветистом саду.

Голубоватый и алый  
Клюв удлинен, искривлен.  
Из бирюзы и коралла  
Кажется сделанным он.

Черная, с желтым и красным.  
Тонкий по клюву коралл:  
Точно Пикассо пикассо  
Алый зигзаг написал.

И обвести постарался  
Глаз — голубым ободком.  
Странно, что Бог занимался,  
Скажешь, таким пустяком?

Как это сделано! С чувством  
Краски, игры, красоты!  
Может быть, чистым искусством  
Смеешь увлечься и ты?



Disney World – городок-балаганчик.

Здесь острые башенки замка  
Еще голубее, чем небо.  
Волшебная лживая сказка!  
О, дайте нам зрелищ – не хлеба!

В магическом царстве кудесник  
Торгует ключами к веселью,  
И сказочный замок прелестный  
Построен с коммерческой целью.

И плавает ящер поддельный  
В подводной пещере фальшивой.  
Посмотрим, от нечего делать,  
На это недивное диво!

Привет, заменители чуда!  
Так мало чудесного в жизни.  
А сердцу без этого трудно,  
Как верно почувствовал Дизни.

И пусть пролетая синее  
Обманчиво Синяя Птица  
И нежная Золушка млеет  
В объятиях ложного принца!





Индуски, китайянки и японки  
 Толпой по лондонскому Пикадилли  
 Гуляли долго. Помню облик тонкий  
 И нежность их — как нежность роз и лилий.

Краснел кружок на белом лбу индуски,  
 Алмаз, приколотый к ноздре, светился.  
 На кимоно японки рис узкий  
 К атласной хризантеме прислонился.

И лотос, золотой, на опахале  
 Качался в ручке белой китайянки.  
 Желтел закат, и девушки гуляли —  
 Одни, как амазонки-лесбиянки.

Но может быть, у них скучало сердце,  
 Томилось, азиатское, упорно  
 По том английском мальчике — гвардейце  
 В мундире алом и высокой черной

Медвежьей шапке, — том, который браво  
 Стоял с другим красавцем, охраняя  
 Вход во дворец, где бродит королева,  
 Вся белая — белее Гималаев.



Мы гуляли по Бродвею. Сколько огней!  
 Это Таймс-сквер, где разные таймские скверны.  
 И шаги наркоманов неровны и нервны,  
 И в сияющих барах пьяней и тесней.

Здесь наряды поярче цветов и зари:  
 Видишь, нравятся грешникам райские краски!  
 Ходят негры, японцы, мальчишка с Аляски —  
 В голубом, темно-розовом, желтом — смотри!

Пляшет краля, и всё у нее — ходуном.  
 И в сиреневых брюках стоят сутенеры,  
 И парик золотой, точно кудри Авроры,  
 На продажном мальчишке с лиловым пятном.

Изумрудная дева дает нам совет:  
 В одиночку-то — вдоволь наспитесь в могиле!  
 Поспешите грешить, если вы не грешили! —  
 И лиловые негры смеются в ответ.

Темным блеском сияют большие глаза,  
 И вино, как рубин, замерцало в бокале.  
 И стекляшка — сапфир на раскрашенной крале.  
 Выпей, краля! А пьют-то — не против, а за!



И мы прошли парижской толчеей,  
В толпе Латинского квартала,  
И вот сошли в средневековый строй,  
В музейный и готический покой,  
В тот розоватый пламень зала,  
Где бледно-розовые гобелены.

Вне  
Земного бытия, в раю нестрогом  
Здесь Дама дивная живет наедине  
С таинственным Единорогом:  
Он ей явился в розовой весне  
Каким-то странным полубогом.



Как надоели римские гробницы!  
 Ну были римляне, поумирали,  
 А мы живем, гуляем и глазеем,  
 Кусаем уголки горячей пиццы,  
 И пьем вино и воду «минерале»,  
 И бегаем по мраморным музеям.

Стоят богини, вовсе неодеты,  
 На них глядят Ромео и Джульетты  
 (Порфирный пол и звонкие шаги),  
 А желтая бумажка от конфеты —  
 Как мотылек, у мраморной ноги.



Что может быть в жизни плачевней  
Арабского сора и хлама —  
А небо над крепостью древней  
Горело большой орифламмой.

Старуха хлебнула лекарства  
(Рука — Иоанна Предтечи),  
А птицы — нездешнее царство  
Над грудями грузной мечети.

С высокого неба раздастся  
Медлительный зов муэдзина,  
И сумерки — синяя астра,  
Синеющий веер павлина.

Я знаю, сейчас мы узнаем  
О чем-то нездешнем и лучшем.  
И небо сливается краем  
С напевом блаженно-тягучим.



В мечети султана Ахмета  
 Простор, тишина, пустота.  
 Забудем стамбульское лето:  
 Мечеть холодна и чиста.

Цветы неизвестного рая  
 На синих ее изразцах.  
 На них, вероятно, взирает  
 Невидимый людям Аллах.

Огромно-пустое пространство,  
 Вверху — полутьма, полусвет.  
 Прими от меня, иностранца,  
 Аллах, иностранный привет.

И мы от незримого Бога  
 Хотим очевидных щедрот.  
 ...Левей Золотого Рога,  
 Как роза, небо цветет.



Как хорошо, что люди мы, а не  
 Шакалы, или мыши, или крысы,  
 Что говорим, стихами, о весне  
 В Италии: про лунный крап теней,  
 Про улочку с Мадонной на стене  
 И темные ночные кипарисы.

Как хорошо, что люди мы, а не  
 Безглазые термиты и трихины,  
 Что радуемся небу — и луне,  
 Посеребрившей лавры и маслины.

В луне и листьях римская стена,  
 И вкусны минестроне и лазанья.  
 Такую ночь мы проведем без сна,  
 Беседуя о тайнах мироздания.

И чувствуя задумчивую грусть  
 От звезд, луны и древней римской арки,  
 В честь вечности, и Данте, и Петрарки  
 Мы Пушкина читаем наизусть.



Сколько песка в мексиканском пейзаже!  
 Охра, агавы, и глина, и кручи,  
 Коршуны, солнце — и кажется даже,  
 Тени от кактусов сухо колючи.  
 Только у моря — ты знаешь, ты скажешь, —  
 Только у моря, у синего, лучше.

Тоже песок, только мы подбегаем  
 К синей волне мимо чайки летучей.  
 Парус далекий касается краем  
 Тучи, просвеченной солнцем и раем.

Черные волосы — черная лава.  
 Профиль ацтека и смуглые плечи.  
 Вот и закат, золотисто-кровавый:  
 В жертву приносят, как юношу, вечер.

Смутно хотелось — бессмертия, что ли?  
 Может быть, даже и смерти хотелось?  
 Всё недовольно отмеренной долей  
 Глупое сердце, усталое тело.





Ну что же — не хочешь, не надо.  
 Прощай, уезжай, не жалея.  
 Не сердце, а гроздь винограда  
 В руке загорелой твоей.

Ну что же — не люблю, не слушай.  
 Любовь — полуяд, полумед.  
 Прощальней, грустнее и глуше  
 Закат итальянский цветет.

Ну что же — что верно, то верно:  
 Я слишком красиво сказал.  
 В не очень красивом Салерно  
 Не очень красивый вокзал.

Ну что же — что было, то сплыло.  
 Инерция встреч и разлук.  
 Не скучно, Земное Светило,  
 Привычный описывать круг?

Ну что же — чем хуже, тем лучше.  
 Я тоже уеду — в Турин.  
 В отеле синьоры Петруччи  
 Никто не ночует один.



Между арок, пиний и кошек  
 Я опять бродил ротозеем,  
 И светился солнечный дождик  
 За торжественным Колизеем.

Самолет пролетал неслышно.  
 Луч наткнулся, в парах бензина,  
 На влюбленных под аркой пышной  
 Императора Константина.

Было грустно, что я — не молод.  
 Был осенний день без тумана.  
 Пролетел озаренный голубь  
 У большой колонны Траяна.

Луч веселый нимфу ощупал  
 У фонтана с мордой тритона.  
 Я зашел под могучий купол,  
 Всебожественный, Пантеона.

И другой был купол — в осенней  
 Озаренной, светящей сини —  
 И сочился свет через тени  
 Колоннад великих Бернини.



Приезжай в Афины рано —  
Или поздно, в ноябре.  
Нежной аркой Адриана  
Полюбуйся на заре.

На Акрополе высоко  
Маленький квадратный храм.  
«Нет великого Патрокла»,  
Но заря сияет нам.

Нет великого Софокла,  
Доблестный убит Ахилл,  
Но полнеба нам широко  
Аполлон позолотил.

Вот куда, «по воле рока» —  
Ах, чужая сторона!  
А война совсем далеко,  
Как Троянская война.



Огромно-серым одуванчиком  
Стоял туман на дне долины,  
И вот — громадным колокольчиком  
Синеет ночь вокруг лагуны.

Оранжеватый шарик месяца  
Висит, как ягода-рябина,  
И, светляком мерцая, висится  
Над ним огонь Альдебарана.

Большое переходит в малое,  
И есть таинственное сходство,  
И вещи образуют целое —  
Искусству видимое братство.

Чернеют снасти корабельные,  
Как бы засохшие травинки,  
И тополя пирамидальные —  
Как тени на моем рисунке.



В платье розовом метиска и  
В майке розовой — креол.  
В старом парке много писка и  
Серый маленький орел.  
Птичка-синька села близко и  
Говорит мне: — Я спою  
Что-нибудь доколумбийское  
Про Колумбию свою!

В белой церкви Евхаристия,  
В парке царство бедноты.  
Здесь цветы всего цветистее,  
И на дереве не листья, а  
Только — желтые цветы.

Пусть над нами Ангел сжалится,  
Ангел Жизни, Ангел дней,  
Пусть блаженство продолжается,  
Пусть нескоро — о, пожалуйста! —  
Станет в сердце холодней!



На страшной высоте блуждающий огонь.

*Осип Манделъштам*

Как много синьки в небо вылилось!  
 Неаполь весь в огнях алмазных.  
 И небо над заливом ширилось —  
 Там тоже разгорался праздник:  
 Переливался в синем Сириус  
 (Он дивным светом сердце дразнит!) —  
 Кто научил в подлунном мире нас  
 Смотреть на звезды без боязни?

К еще неведомой галактике  
 Без страха тянутся лунатики —  
 С мечтой, мне кажется, такой:  
 Качнуть небесные фонарики,  
 Слегка потрогать их рукой.

А я гляжу (я их трусливее),  
 Как светятся суда в заливе и  
 Огни домов на горизонте  
 (Где близко — время Тита Ливия):  
 Вы их, лунатики, не троньте.



Почему-то вдруг приснится  
Фараонова царица,  
Сфинксы желтые пустынь:  
Глаз огромный, длинный, близкий,  
Опахала (одалиски?),  
Груды черные рабынь.

Злыми змейками рыжеет  
Золото на тонкой шее,  
Рот рубиново-багрян.  
Платье пламенно-янтарно.  
Пахнет сладко и угарно  
Сквозь сиреневый туман.

Ну, и что же? Чайной розой  
Счастье (в Арктике морозной)  
Расцветает без шипов?  
Думаешь, еще не поздно?  
Пышной и душистой розой  
Расцветет еще любовь?



И по Дворцу венецианских дождей,  
 Среди парчи и бархатов кровавых,  
 Мечей, кинжалов, воинов суровых,  
 Я шел, не воин — беженец, прохожий,  
 И щерился Отелло темнокожий,  
 Испытанный в воинственных забавах.

В тяжелой мрачности Эскориала,  
 Где ожидалась дивная победа,  
 Плыла Непобедимая Армада  
 (Она непоправимо затонула) —  
 И здание суровое дрожало  
 От грозных кликов смертного парада.

И тот миланский грузный замок Сфорца —  
 Как много битв, и стонов, и проклятий!  
 (Там со Христом, убитым, Богоматерь —  
 Работа Микеланджело — и Смерти.)  
 ...Я слушал кровь слабеющего сердца,  
 Беглец, усталый от кровопролитий.





Там, где белела бурная пена, —  
Темная тина.  
Смутным обломком, образом тлена  
Стала колонна.

След перламутра, след алебастра,  
Мрамора, моря.  
Может быть, это — торс Александра  
Или Тиберий.

Здесь проходили рабы, весталки,  
Кони Аттилы.  
Там, где когда-то росли фиалки,  
Растут кораллы.

Снова янтарь и каменный уголь,  
Где были ветки.  
В тусклой воде тускловатый угорь,  
Узкий и гладкий.



Снова дни, голубые дельфины,  
 Уплывали, играли, мелькали.  
 В этом замке дрались Гибеллины  
 И о гибели Гвельфов мечтали.

После в Англии Белая Роза  
 С Алой Розой сражалась — за что-то.  
 Кто-то умер от туберкулеза —  
 Помнишь готику, башню, ворота?

А потом — в опустелом Версале  
 Царство окон — как много заката!  
 Мы бродили, смотрели, молчали:  
 Царство яшмы, порфира, агата.

В Королевстве Обеих Сицилий  
 Тоже были, мой друг, короли:  
 На закате по саду бродили,  
 Там, где мы на закате прошли.



Я задумался, вспоминая  
Влажно-солнечные Гаваи.  
Океан и пальмы — неплохо!  
И гавайский привет: алоха!

Узкий пруд — в закатном пожаре.  
На гавайской бы на гитаре!  
Ну на чем-нибудь поиграй-ка,  
Спой мне песню, краса-гавайка!

На ее смугло-нежной шее  
И на голой груди висели  
Желтоватые орхидеи —  
Мягко-нежное ожерелье.

Точно к Леде, к ней черный лебедь  
Плыл — цветком на воде игривой:  
Черный, гибкий и длинный стебель  
С лепестком оранжевым клюва.



Восхитись узорчатой Альгамброй!  
Крашенные золотом и умброй  
Сложны потолки, как теоремы.  
О, халифы, евнухи, гаремы!

Потолки напоминают соты,  
Мед струится в золоте ячеек.  
О, декоративные красоты  
Мира арабесок и Зюлеек!

Шесть веков светились эти вазы  
В мавританском филигранном мире.  
В изразцовой узкой амбразуре  
Геометрия абстрактной розы.

Падал свет на кружевные стены  
В палево-сиреневых узорах.  
Свет века́ лежал на стенах старых:  
Лучшие орнаменты — нетленны.



Земными полурайскими садами  
Ты погулял, ты подышал,  
И розы нюхал, и глядел на пламя  
Заката в предосеннем фимиаме,  
Как богдыхан, как падишах!

Ты видел дворик — жалкий, некрасивый,  
Но яркий в августовский день.  
На лужу нефти (видишь переливы?)  
И на узорный пыльный лист крапивы  
Ты с наслаждением глядел!

Ты тяжело болел. Страдал. И рад же  
Ты был деревьям и кустам,  
Когда опять гулять пошел, устал —  
И отдыхал, богат, как магараджа,  
Как фараон или султан!



O ihr Stimmen des Geschicks, ihr Wege des Wanderers.  
*Friedrich Hölderlin, «Griechenland»\**

Пускай на душе предрассветно, смутно —  
 Твоя душа прозрачнее ветра,  
 Страна винограда и перламутра!  
 Белая козочка так приятно  
 Блеет у древнего амфитеатра.

Греется Греция, реет гальциона,  
 Пышными блестками светится море.  
 Как же насчет смерти, козочка? (Хронос  
 Сети закинул, мгновенная пена) —  
 Хватит для нас бессмертия в мире?

Точно при скептике Гераклите,  
 Всё течет, и день плывет молчаливо.  
 Всё же, когда приплыву на закате,  
 Разве душа, как рваные сети,  
 Над темной водой всплывет без улова?



\* О Судеб голоса, о вы, пути странника.  
*Фридрих Гёльдерлин, «Греция»*

Кто повидал сокровища земные,  
 Не может разлюбить земли.  
 Чудес Венеции и Византии  
 Немало музы сберегли.

В музее светлом греческие фризмы,  
 И козы пестуют козлят.  
 Персидские лазоревые вазы,  
 Бледно-оранжевый закат.

А рядом персики и абрикосы,  
 Лилово-темный виноград.  
 И я на улице, в толпе раскосых  
 Китайцев, фавнов и наяд.

У Лувра сероватые платаны,  
 И желтый лист лежит в пыли.  
 Музейные прекрасные картины —  
 И запах Матери-Земли.

Но то, что сердце заставляет биться,  
 Напоминает отчий дом:  
 Места, где клен в сиянье золотится  
 На сельском кладбище пустом.



О Судьба, немая криптограмма,  
 Разве можно разгадать?  
 (Музыка из дальнего Сезама  
 Обрывается опять.)

Арабески, темные узоры —  
 Что колдуешь, чародей?  
 Точно клады, феи, мандрагоры,  
 Скрыты судьбы от людей.

О, пройдем сквозь темные преграды  
 К чародейному дворцу!  
 Там кариатиды и каскады  
 Темной вечности к лицу.

Подойдем к таинственной Сивилле:  
 Здравствуйте, ворожея!  
 Никогда вы нам не говорили  
 О загадках бытия.

Но она дурманных восклицаний,  
 Заклинаний — не прервет,  
 Лишь скривит — в отравленном тумане —  
 Усмехающийся рот.





Ночная бабочка, мохнатая, как филин,  
Вещественней твоей души.  
Я душу нежную вообразить бессилен.  
Душа, на стекла подыши!

И даже изморось, стоящая туманом,  
Вещественнее, чем она.  
— Но невидимка-музыка внятна нам?  
Так упоительно внятна!

Соната нежная, незримый запах розы —  
Душа едва ль незримей их? —  
Да-да, конечно. Праздные вопросы.  
Душа не хочет слов таких.

Мне грустно, что она бесплотное создание,  
Бесплотней тени на снегу.  
Мне грустно потому, что даже на прощанье  
Ее обнять я не смогу.



Слетевшего с небес мерцающего гения  
 Нам не хватает, чтобы в жизни  
 Все изменилось вдруг, по мановению  
 Волшебной палочки капризной.

Хотел бы ты быть духом светло-огненным  
 Или блаженствовать в нирване?  
 Осталось ждать уже совсем немного нам  
 До исполнения желаний!

Из позолоченного рога изобилия  
 На всех посыплется удачи.  
 Блаженно-нежно-светлая идиллия!  
 Мы все от радости заплачем.

Ах, ни к чему ирония, иронийка.  
 Мечта, не уходи, останься!  
 Но все туманно, словно дух покойника  
 На спиритическом сеансе.



Хрустальное сердце, прозрачней, чем лед,  
Принцесса Грёза разбила.  
Луна, как принцесса Ту-ран-дот,  
А ночь — принцесса Брамбилла.

И лебедем лунным плыл Лоэнгрин  
К Аиде, Лакмэ, Клеопатре.  
А зритель уснул — и проснулся, один,  
В ночном опустелом театре.

И видит, что тень его ходит во сне  
Среди голубых декораций.  
Ночной арлекин подлетает к луне  
Среди других аберраций.

И Душенька, нежную ножку задрав,  
Летит, в голубое одета.  
И кто-то в нее стреляет, пиф-паф,  
Из длинного пистолета.

Но смерть, фантом, химера химер,  
Уходит, злая царица.  
Лишь тонкий червяк, червяк, а не смерть,  
В груди холодком змеится.



Был замок чудесный в чудесном балете,  
Сильфиды в жемчужном, таинственном свете,  
И белые ноги, как белые птицы,  
Летали вокруг чаровницы-царицы.

И ангел, одетый во все голубое,  
Кружился, и сладко звучали гобои,  
И флейты, подобные ангелам, пели  
О нежной печали, о нежной Жизели.

И Золушку принц подымал триумфальной  
Над синей землей, над мерцающей спальней,  
И белым цветком умирала Джульетта  
Среди безутешного кордебалета.

Плыла Эвридика в холодном Эребе,  
И нежно сникал Умиравший Лебедь,  
И лебеди плыли в сиянии синем  
Над озером дивным, ночным, Лебединым.

И долго еще волшебство продолжалось,  
И сердце туманили радость и жалость,  
И Танец был Голос, и Логос, и Мелос —  
И снова бессмертия сердцу хотелось.



Захотелось порезвиться —  
Начинайте хоровод!  
Синепёрая синица  
Тонкий месяц принесет.

А придется расставаться —  
Сердце зельем опои:  
Унесет сестрица братца  
В розоватые раи.

Ни проститься, ни расстаться,  
Ни остаться навсегда:  
Понеслась за вихрем танца  
Синеватая звезда.

Крылья черные забьются —  
Не целуйся до зари.  
С позолоченного блюда  
Зерен черных не бери.

Ранним утром заструится  
Золотистый водомет,  
Солнце красное взойдет,  
Сердце красное возьмет  
Шемаханская царица.



Попрыгай, душа-попрыгунья,  
 Над миром земным повзлетай!  
 Слетай в облаках полнолуныя  
 В еще небывалый Китай!

Попробуй, душа-попрошайка,  
 Нам выпросить лишний часок,  
 Чтоб легкая быстрая стайка,  
 Шумя, опустилась у ног.

Спляши-ка, душа-чародейка,  
 Чтоб месяц не скоро погас,  
 Чтоб тонкой, холодненькой змейкой  
 Судьба не ужалила нас.

Кружись-ка, душа-молодица,  
 В мерцании бледном ночном!  
 Пусть тень от плясуньи ложится  
 На небо веселым пятном!

Кометой, душонка-летунья,  
 Над миром дугу опиши!  
 В холодную ночь полнолуныя  
 Спляши-ка, душа, от души,  
 Сестренка созвездий больших!



Небожитель, селенит!  
След серебряный спирален.  
В синем воздухе сквозит  
Светлый инопланетянин.

Скучно стало в неземном  
Доме, городе, районе?  
Пляшет призрак, серебром  
Светится на небосклоне.

Синий с белым небосклон  
Плясуном лихим исчерчен.  
Селенит – бессмертен он?  
Нет, наверно, тоже смертен.

Вот, пританцевал сюда,  
Кувыркается, резвится.  
Перед смертью иногда  
Хочется повеселиться.

От земной и неземной  
Утомительной печали  
Сделать хочется, родной,  
Легкое сальто-мортале!



Сердце почти размагничено,  
 Милый магнит!  
 Только покой безразличия  
 Тихо манит.

Что-то в машине развинчено,  
 Печальный вид.  
 Моной леонардовавинчиевой  
 Судьба глядит.

Зачем так смотришь загадочно?  
 Смерть у дверей?  
 Уже ремень передаточный  
 Слабей, слабей.

Сердце — с ним прожил всю жизнь я.  
 Оно — еще поживет?  
 У этого старого дизеля  
 Неровный ход.

Одни сожаления поздние,  
 И нет запасных частей.  
 ...Стань поэзией, злая коррозия  
 Жизни моей!





Оранжевато-розовато-серый край  
Большого неба стал желтею.  
Причуда бога-чародея,  
Сиянье нежное, заманивай, играй!

Сигналы огненные из страны чудес,  
Инопланетные приветы —  
Какие верные приметы!  
Не очень верные, но все равно: с небес.

Вернее — знак, что вечер начинается,  
Что в поле холодно и голо,  
Что солнечного ореола  
Нам видеть до утра не полагается,

Что море тускловато, не серебряно,  
Сиреневато, темно-серо,  
Холодное, точно пещера,  
В которой солнце мертвое затеряно.

И сумерки прелюдию забвения  
Играют медленно и вяло.  
И нам из зрительного зала  
Уже пора — в другие измерения.



Ты был жив недавно. Тяжело болел.  
Пишет брат: в кругу семьи.  
Утром, около семи.  
(Начали снежинки снова свой балет.)

Неразборчив почерк, серое письмо.  
И неясные слова  
(И опавшая листва)  
Мерзнут на дороге: холодно зимой.

Свет над парком бледен, бледно-желтоват.  
И коричневые дубы.  
И, как вестники судьбы,  
Грозно-бронзовые всадники стоят.

Ты был жив, и небо — было голубым.  
И кормили голубей  
Старики, и был слабей  
В желтенькой аллее серо-сизый дым.

А письмо, как птица: вот, летит в бассейн,  
В воду черную само.  
С черной кромкой то письмо,  
Скучный вестник смерти в скучной жизни сей.



Не душа, а легкий пар,  
Говорят, у кошки нежной.  
Паром полон самовар:  
Чай душистый, жар душевный.

Ты не оборотень, нет,  
Черный кот розовоносый?  
Хоп, прыжок — и ваших нет:  
Аль-Рашид сидит полночный.

Попрыгун ты, друг Гарун,  
Что с тобой, халифом, делать?  
Что мне даришь — изумруд?  
Только череп, только челюсть?!

Ты бы лучше мне принес  
Луч от лампы Аладдина.  
Полно, призраки! От вас  
Холодище, холодина.



И в мои лета, смерть без ответа.

*Карион Истомина*

Милый друг, спасибо за молчание:  
Сладко слушать тишину.  
В нереальной, неземной компании  
Я от шума отдохну.

Я постиг особенное зодчество:  
Лунный выстрою дворец,  
Чтобы мир благого одиночества  
Мне открылся, наконец.

Будут тени, в бархаты одетые,  
В узких лодках проплывать,  
Будто серебристыми стилетами  
Резать меркнущую гладь.

И на бледные немые тени я  
В той Венеции — другой —  
В голубом четвертом измерении  
Погляжу, мой дорогой.



A renaître, portant mon rêve en diadème,  
Au ciel antérieur où fleurit la beauté!

*Stéphane Mallarmé\**

Если бы мне глоток того эликсира,  
Который дарует людям вечное счастье!  
Улыбнись, Фортуна, пленяй, Пленира,  
Прилети, как нежная птица-лира,  
Заблестай опереньем, скажи: здрасте!

Я бы, наверное, растерялся совершенно,  
После эликсира все бы кружилось,  
И я бы испугался сладкого плена  
И не знал, что сказать, и она бы спросила:  
— Чего же ты смотришь, скажи на милость?



\* Возродиться, мечту вознеся, как венец,  
В небесах неземных, где цветет Красота!  
*Стефан Малларме*

Spielen  
denn meine Sinne noch zu sehr mit Licht?  
*Rainer Maria Rilke\**

К вечеру стало нежнее, весеннее,  
Свет в облаках заблестел серебристее.  
Кажется, свет означал всепрощение,  
Был обещанием райской амнистии  
Всем осужденным, всем заключенным.

Птицы в просвеченном небе летали, и  
Сердце решило, что свет предвечерний —  
Вроде предсмертной реабилитации  
— Да, не посмертной, лучше предсмертной —  
Всех осужденных, всех обреченных.



\* ...Играют чувства  
мои по-прежнему чрезмерно светом?  
*Райнер Мария Рильке*

Улыбнись, царевна Несмеяна,  
Несмеяночка, молчаночка, тишинка!  
О, морозинка, малиновка, малинка,  
Как березка из тумана!

Дайся в руки мне, царевна Лебедь,  
Ты жемчужинка, изюминка, снежинка,  
Ты летучая, прозрачная пылинка,  
Звездочка в осеннем небе!

Подлети, царевна Недотрога,  
Дайся в руки, тучка, льдинка,  
Светлая бессмертинка, раинка,  
Поиграй со мной немного!



А умрем — заживем на поверхности солнца,  
Два сияющих протуберанца.  
(Наши души там будут, как два иностранца,  
Два неопытных переселенца.)

Спросит огненный дух: «Как по-беженски  
время?»

Как по-божески Божие имя?»  
(Завывать и плясать будет бурное пламя,  
Будто дикое, страшное племя.)

Ну, а ты говоришь: «Где лучи слишком ярки,  
Там играть можно только в жмурки.  
Наши души поедут на сивке-бурке  
И растают, смешные Снегурки!»





Перед тем, как замолчать,  
Надо же поговорить.

*Георгий Иванов*

Я говорил о радостном и грустном  
В пещере — сталагмитам и моллюскам.

Нетопыри прислушивались вяло  
В холодной ночи зрительного зала.

Но проплывал огромный черный лебедь  
Сквозь темный шорох, сквозь неясный лепет,

Огромные бессмертники сухие  
Шуршали о бессмертной Мусикии —

Но синие большие асфодели  
Под синим снегом зябко холодели,

И черный парус падал, цепенея,  
Как тень от арфы мертвого Орфея.



And silence sounds no worse than cheers  
After earth has stopped the ears.

*A.E.Housman\**

Гулкий простор португальского храма.  
Здесь усыпальница Васко да Гама.

В столь же огромной гробнице покоясь,  
Равен ему по величью Камознс.

Здесь мореплаватель, здесь и поэт:  
Оба открыли невиданный свет.

К мраморной, мрачной, высокой гробнице  
Русский поэт подошел — поклониться.

Ну, помечтай, что и мы удостоимся  
Пышной гробницы не хуже Камознса!

(Или — другая, непышная версия:  
Много забвения, мало бессмертия?)



\* И молчанье не хуже, чем поклонников вой,  
Если уши засыплет землей.

*А.Е.Хаусман*

Пегас, крылатый конь Поэзии, ударил  
копытом по камню, и из камня полился  
ключ — источник вдохновения — Иппокрена.

Что искусство? — порой говоришь:  
Талисман, амулет, фетиш?  
А пожалуй, искусство лишь

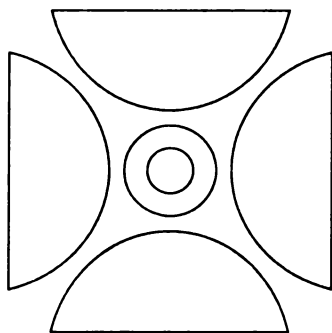
Голубая глупая блажь,  
Только призрак, обман, мираж,  
За который копейки не дашь.

Нет, не блажь, а блаженство. Певуч,  
Иппокрена, таинственный ключ,  
Самый сладостный, самый луч-

Лучший, светлый. Бессмертным лучом  
Напой нас, волшебным питьем  
Опои, опьяни торжеством  
Над забвеньем и небытием!



АНТИТЕЗА





Душа, от шашней разной шушеры и нечисти  
Ты отдохнешь — шабаш! — в священной  
роще Вечности.

Ты долго маялась, роптать не смея,  
В пещере людоеда и пигмея,  
В салонах троглодитов и хунхузов.  
(«Назвался груздем — полезай же в кузов!»)

Расставшись с готтентотами, с башибузуками,  
Ты насладишься гармоническими звуками.

В нездешней роще — Хлоя и Пленира  
И тень кентавра или тень сатира.  
Ты будешь жить средь розовых оленей  
И голубых и нежных привидений.

А может быть, порвав с бушменами и  
кроманьонцами,  
Ты будешь с ангелами, звездами и  
солнцами?

И нежно запорхают василиски  
Средь васильков, нам предлагая виски,  
И гарпии и фурии из ада  
Нам вынесут по чашке шоколада.  
Кинь грусть! Кинь грусть! И умирать  
не надо!  
Кинь грусть! Кинь грусть! Кинь грусть!  
Кинь  
Грусть! Кинь грусть! Кинь грусть!



Вы не спорили, русские мальчики,  
 О таинственной вещи — бессмертии?  
 Вот умрем — и? Гробы, точно ларчики,  
 Открываются просто? Не черти и  
 Не святые, а черви? В материи  
 Есть — печально, печально — бактерии.

То надеется, то не надеется  
 Человек на свое воскресение.  
 — Ну куда уж там — прахом развеется,  
 Просто-напросто — дымом рассеется,  
 Заблуждение, недоразумение?

— А евангельский, давний (не верится?)  
 Теплый вечер, и Он «у колодезя»?  
 О, живая вода, жизнь вечная...

— И про дочь Иаира — гипотеза,  
 И о Лазаре — сказка, гипербола.

Ветер в русском саду. И колотится  
 Красно-серая веточка вербная.







Человечество? Нет, не хочется.  
Меланхолия, мерлихлюндия.  
О, отпразднуй Праздник Безлюдия,  
Фестиваль Тоски-Одиночества!

Бал Общественного Презрения,  
День Осеннего Равнотления.

Что война, газеты и радио!  
То захвачено, то украдено.  
Не заслуживает внимания  
Планетарная Павиания.  
О Эдем, Цитера, Аркадия!

Успокой ты сердце свирелями,  
Мадригалами, пасторальями,  
Не волнуй ты сердца печальями.  
Запоем, хе-хе, менестрелями  
Над рассветами и расстрелами.



Говорила Судьба по-жабьему,  
 Жабьему, жабьему:  
 «Змей Горыныч научит вас рыбьему,  
 Крабьему, кк-рабьему  
 Уму-разуму!»

Змей Горыныч из леса дремучего —  
 Это чудище мучило, мучило,  
 Только мучиться нам наскучило —  
 Мы из чудища сделаем чучело,  
 Чучело, чучело!

Защебечет Судьба по-птичьему,  
 Птичьему, птичьему,  
 И все переменится к лучшему,  
 Лучшему, лучшему  
 По щучьему веленью: по щучьему,  
 Щучьему, щучьему!



Направо кумиры, налево табу.  
От них отдохнешь ты в холодном гробу.

Вот идол Работа, божок Чепуха,  
А вот, порицаемый, Демон Греха.

И крики шаманов, и жертвенный нож,  
И бубны, и маски, и дымная дрожь.

Ах, Демон Греха, он милее других:  
Прелестные девы в цветочках одних.

Но, может быть, лучше дышать ветерком  
Далекой планеты, где сядем рядком,

Забыв, как лежали, скучая, в гробу,  
Средь мертвых кумиров и мертвых табу.





И сухая ноябрьская ночь  
как заросли чертополоха,  
огромные заросли  
серых колючих стеблей,  
сделанных из осеннего ветра,  
из жесткого холода,  
из вороньего резкого грая.

В такую ночь  
в переулки выходят лемуры.  
Они качаются, как на лианах,  
на черной паутине молчания;

они вращаются вместе с планетой  
(только в другую сторону);  
они говорят, что нам лучше вернуться  
в Туманность Андромеды.



Отрубленную голову Пегаса,  
Его большие высохшие крылья  
Мне показали в городском музее.

Оскал зубов казался злой гримасой,  
В глазницах рос ковыль, покрытый пылью,  
В засохшей гриве шевелились змеи.

И, помня участь вещего Олега,  
Я отошел, сказав: «Прощай, коняга!  
Заездила тебя крутая горка!»

И он взглянул — и улыбнулся горько.



Из шелухи, из чепухи  
Плохие шуточки и штучки.  
Три ведьмы шепчут мне стихи,  
Сидят верхом на авторучке.

Из ночи, дыма и дождя —  
Алхимия и ахиная, —  
И небо, медленно дрожа,  
Внезапно стало зеленее.

Как на ладони бытие —  
Немного меда, много яда.  
А ведьмы, кутаясь в тряпье,  
Мне шепчут: «Малая награда

Тебе: стихи — какая чушь!  
Бирюльки, бабочки, безделки.  
И не бессмертие, а глушь,  
Канавы, холод, дождик мелкий».

Параферналия, пора  
Абракадабра! Панчатантра!  
(Не алгебра и не игра,  
А контра-пунктик музыканта.)



Живу, изящными уютами  
От ужасов отгородясь  
(А время капает минутами  
В кладбищенскую непролазь).

Живу, любуясь безделушками,  
А вечность тянет, как магнит,  
И пасторальными пастушками  
(Как неожиданно!) — манит.

Там даже туча, именинница,  
Кокетничает с ветерком,  
Река целуется, бесстыдница,  
С кисельным сладким бережком.

И розовыми хороводами  
Пейзанки нежные плывут  
В альков с маркизами, милордами,  
Маня в изящнейший уют.

Пикник в раю! Сия идеечка  
Мне по душе! Адье! Пиф-паф! —  
И смерть запела канареечкой,  
Остаток зернышек склевав.





Сад султанов, летний вечер сонный,  
Темный камень, темные бассейны,  
В них, как рыбки светлые, окурки.  
Со своими гуриями турки  
(Сулейманы юные, Гуссейны),  
Разукрашенные павильоны.

Абрикосов, персиков нежнее  
Розовато-смуглая Зарема,  
Бархатистоглазая Земфира  
(Легкой стрелкой каждая ресница).

А за парком, в тусклой вечности музея,  
Точно пышно-грузная трирема,  
Тяжело-роскошная гробница  
Александра, властелина мира.

И в гробу стеклянном между серых статуй,  
Вялой грудой бурых листьев клена —  
Внутренности, ссохшиеся в комья,  
И скелет, коричнево-мохнатый  
(Будто в почве высушенные корни) —  
Я забыл, какого фараона.

Темный вечер, темные бассейны.



Как до Колумба, в хижинах ютятся  
 В Колумбии большая беднота,  
 Но этот город все-таки столица,  
 И кажется, богата Богота.

Доколумбийских глиняных горшков  
 Я не купил, на лучшее надеясь.  
 В Музее Золота мы загляделись  
 На золотых сияющих божков.

Мы жертвы тем божкам не принесли,  
 Мы им не поклонились до земли.  
 Зачем? Они врагов не отразили,  
 Не вознеслись ни в славе и ни в силе.

Я думал не о них, а об умельце,  
 О том, кто сделал золотое тельце  
 С таким искусством. Никаких имен  
 Не сохранилось (да у тех племен  
 И письменности не было). И странно  
 Подумать нам о тени безымянной.

Ты тоже мастер золотых изделий —  
 Из чувств и рифм, звучаний и видений, —  
 И письменность у нас. Но имена  
 Не знает наши наша же страна.

Не споря о бессмертии с божками,  
 Мы балуемся русскими стишками.



Шел, укрывался — неделями.  
Первые ночи — без сна.  
Чуть начиналась весна  
Сразу за темными елями.

И за лесами-туманами  
Серые стлались дымки.  
Чудились где-то свистки,  
Люди с лиловыми ранами.

Эх, помирать-то не хочется!  
Есть еще дома дела.  
Лунная ночка смугла,  
Ночь — как цыганка-пророчица.

В доме казенном тревожатся:  
Дальней дорогой иду.  
Эх! На таком холоду  
Морщится лунная рожица.

Холод-то, может, во мне?  
Плакаться — дело ненужное.  
До моря теплого, южного  
Я доберусь по весне.



Колочая проволока сплетена  
Из мертвых ласточек. Но  
Телефонным проводом станет она  
С голосами в ней — и на ней:

Все ласточки оживут.  
Ну а если тюрьма, стена, —  
То заключенный нарисует дверь на стене —  
И выйдет через нее.

И его, не правда ли, не убьют,  
Хоть и будет стрелять солдат?  
(Потому что из винтовки не пули, а —  
Жаворонки полетят?)

И время, как морская волна,  
Спокойно пойдет назад  
И смоев боль, и ночи без сна,  
И даже годы обид?

И если, не правда ли, убьют — подожди, —  
То потому, что суждено опять  
Солнечному сплетению в его груди  
Солнечным сиянием стать?



Сумма углов, не помню чего,  
Равняется двум прямым.  
Но с двумя прямыми — что делать? Во!  
Бим-бом, бам-бам, бим-бим!

Параллельные линии сойдутся не раньше,  
чем в бесконечности. Да?!  
Мне не к спеху, конечно, тра-ра, тра-ра,  
И я могу подожда...

Одно пространство не могут зараз  
Два тела, хи-хи, занять.  
Прекрасно: в гробу мне мешал бы другой,  
Беспокоил, толкая ногой.



Соседи суетливые твои —  
Они искусственные муравьи:  
Все тащат, тянут, бегают, несут  
Житейский груз (а как же Страшный Суд?).

С одним шагает девяносто лет  
Ослабленный искусственный скелет.  
На блюде шестьдесят четвертый год  
Искусственную челюсть он несет.

А муравей спешит — он деловит,  
К нему бежит искусственный термит:  
Ему привез инопланетный гость  
Берцовую (естественную) кость.



Остаток лунной пилюли  
Липнет к небу и к нёбу.  
Прозрачный призрак на стуле  
Похож на большую амёбу.

Какая томная гнилость  
В мутном воздухе ночи!  
Мы знаем, что-то случилось  
И с нами, и с миром, и с прочим.

Две крысы юрко шмыгнули.  
В общем, жить неохота.  
Совсем как с лунной пилюли,  
Сошла со всего позолота.

Мы что-то поняли в жизни —  
Скверный намек прозрачный.  
...А призрак (на стуле) — признак  
Довольно тревожный, признаться.



Гомункулус по имени Попутчикус  
 В родной Европе (и в реторте) жил, как  
 вздумалось,  
 И говорил, когда впадал в задумчивость:

«Когда передовое человечество  
 От предрассудков Запада излечится,  
 То в коллектив включившаяся клеточка...»

«Ну что тебе, Попутчик-Глупчик, снится-  
 бредится?» —  
 Спросила вдруг Большущая Медведица  
 И увезла его к себе — проветриться.

Иона из кита, я слышал, выбрался  
 (И кролик проглотил удава в Виннице);  
 Попутчикус в Медведице-гостинице  
 Писал стихи — хореем и кириллицей.

Над белым холодом и гололедицей  
 Был мир другой, другой Большой Медведицы.





В парке, возле идола безликого,  
Милая сидела молодежь,  
И один сказал: раз цель — великая,  
То сегодня жалость — это ложь!

И на мой вопрос они ответили,  
Что жалеть несчастных — ерунда,  
Потому что в будущем столетии  
Люди будут счастливы — всегда.

Подле них слепой старик в колясочке  
Продавал лиловую сирень  
(А в лазури, чуть синяя, ласточки  
Золотой пронизывали день).

Я надеялся, что он излечится,  
Свет увидит солнечного дня.  
Будущее счастье человечества  
Мало беспокоило меня.



Идеи? Идеалы? — Идолы!  
О фокусники, лицедеи!  
Болотные огни, мы вас увидели —  
И мы не верим вам, идеи!

Законами и страхами пугая нас —  
Скрижали на скале пустынной! —  
Еще стоят поддельными Синаями  
Окаменелые пингвины.

И соблазняя сказками о подвигах  
Во имя правды и морали,  
О, сколько простодушных верноподданных  
Пораздави/ли те скрижали!

Пустые маски, чары, совратители  
Пустых умов — нам вас не надо!  
Мы не хотим вас слушать, лжеучители!  
Зачем нам ваша клоунада?



Ржавые рельсы и ржавые рыжие сосны.  
В рыжих колючках и проволока: поржавела.  
Лист порыжелый пристал к поржавелой  
колючке.

Рыжая глина. И тени — косые полосы,  
Тени от проволоки. Трава — там,  
где мертвое тело, —  
Рыжая тоже. Эх, тучки небесные, тучки!

Рыжая хвоя за шпалами, свет на тропинке:  
Шибко стреляли, а вот — не видать ни  
кровинки!

Ржавым забрызгало, что ли, сухой можже-  
вельник.  
Ну, размозжили: бежал, да попался,  
бездельник.



Как будто демон наркомании  
Нам говорил о тайном знании  
(Между грехами и стихами):  
Как будто в голубом тумане и  
В ночной стране Марихуании  
Сквозь музыку, в дыму и гаме  
Растет нездешнее мерцание.

Всему блаженно посторонние,  
Почти, почти потусторонние,  
В незримой ложе театральной  
Мы слушаем — полупечально —  
Звук облаков на небосклоне и  
Начало неземной симфонии,  
Прозрачно-ангельски-хрустальной.

Летят с невидимой трапеции  
Младые боги Древней Греции  
В метафизическом балете —  
И в голубой иллюминации  
Мы ловим их на небе в сети,  
Мы, чемпионы элевации,  
Уже на том, не этом свете.



Да ну вас, да ну вас, да ну вас  
(Закат, предпоследний, погас).  
Житейская глупость и грубость  
Уже не касаются нас.

Касаются — влажные ветки  
Твоей побледневшей щеки.  
Заботы, как бурые белки,  
Умчались по веткам, легки.

И где уж, и где уж, и где уж  
Нам выжить в житейской борьбе?  
А души — не ищут, надеюсь,  
Зерна́, вроде тех голубей?

Да что там, да что там, да что там —  
И мне, и тебе все равно:  
К иным, нежитейским заботам  
Пускай добавляют зерно.

Пока что — ни много ни мало —  
Я в парке часок постою,  
Где черная кошка поймала  
Прилежную белку мою.



Одна миллионная миллиметра –  
 Размеры вирусов. Не может быть,  
 Что в результате тумана и ветра  
 Они могли тебя убить.

Не может быть, что какой-то вирус  
 Тебя убивал, как тать, пока  
 Твои глаза глядели, расширяться,  
 На посветлевшие облака.

Тебя, вероятно, убил архангел,  
 Ударил огненным крылом  
 Воитель в небесном высоком ранге,  
 Сопровождаемый орлом?

Еще продолжалась инфлуэнца,  
 Еще ты кашлял и чихал,  
 Когда он вылетел из солнца,  
 Как молния сквозь черный шквал?

На горную снежную вершину  
 Упал его свет, и в тот же миг  
 Тебя в светозарную дружину  
 Взял знаменосцем архистратиг?



Барон Мюнхгаузен в пустыне  
(Где было жарко, желто, сине)  
Увидел двух огромных львов.

Он дрогнул, но, презрев барона,  
Они друг друга (хладнокровно?  
И кровожадно!) съели. Во!

От них ни крошки не осталось.  
И пальма рыжая качалась  
Над желтизной, под синевой.

Вот если б в желтеньком просторе  
Друг друга съели — Смерть и Горе!  
Чтоб лев питался светом звезд

И чтобы в радостном покое  
Бежало стадо к водопою  
Бессмертных и счастливых коз.



Ветер жизни стихает, слабеет, смолкает  
в опадающем, порванном парусе тела.  
На темнеющих дюнах  
песок вытекает  
из огромных песочных часов.  
О, разбитый стеклянный сосуд!  
Сероватое небо  
тусклой раковинной без жемчужин  
ранним утром раскрылось  
над водою, где спит почерневшая рыба, —  
тень от лодки Харона.





Если будет война,  
Мы уедем далёко-далёко.  
Тепловая волна  
Наш корабль взметнет кособоко.

Серо-дымчатый гриб,  
Точно столп, уцелевший от взрыва,  
Будет выше зари,  
И мы скажем: — Смотри, как красиво!

На небесный вокзал  
Мы приедем, намучившись вдосталь,  
Где с ключами стоял  
Бородатый курчавый апостол.

И китаец Петров,  
Голубой ученик Чу Эн Лая,  
Отодвинет засов  
На воротах китайского рая.



Шиндра шиндара,  
 Транду трандара,  
 фар, фар, фар, фар, фар, фар,  
 фар, фар, ферт.  
*Александр Сумароков*

Случайно случившийся случай. Смешки!  
 Поэта взяли за жабры.  
 Всё мелочи, глупости, всё пустяки:  
 Детали абракадабры.

Да, в Тарара-Бумии нашей – ребят  
 Жуют без соли убийцы.  
 Затарара-бумили, милый, тебя  
 Та-ра, тарара-бумбийцы.

Но это же лучший из всех миров,  
 Забудем про чушь и муки.  
 На днях прилетала стая коров  
 На свадьбу слона и мухи.

Ах, всё замечательно! Видишь – опять  
 Зима, а за ней что? Осень?  
 Давайте считать, что дважды два пять,  
 Точнее, семь или восемь.



Когда-нибудь, потом, потом, впоследствии  
(А может быть — уже в апреле? )  
Нас всех сполна вознаградят за бедствия,  
Которые мы претерпели.

И к вам законы о вознаграждении  
Применят, милый, в полной силе:  
Какое-то весьма красивое растение  
На вашей вырастет могиле.

Увы! Шиповником, который мне достанется,  
Потомство будет недовольно.  
Все скажут: «Был он, вероятно, пьяница —  
Фиалки маленькой довольно».



Тебе достанется не более, а менее,  
 Но «дальше едешь, тише будешь»,  
 И все земные недоразумения  
 Ты, разумеется, забудешь.

Развалины прекраснейших возможностей  
 Чернеют на свинцовом небе.  
 И ты глядишь задумчивей и горестней,  
 Не различая быль и небыль.

Горит огнем и ало, и шафраново  
 Царевнин терем с пышной башней.  
 Но ты, бедняга жалкий, с пира пьяного  
 Уйдешь не солоно хлебавши.



Милой музыкой старинной  
Ты печально утешалась.  
Тоненько звенела жалость  
Каватиной, сонатиной.

Может быть, немые души  
Композиторов покойных  
Прилетели к нам послушать  
Звуков струнных и гобойных?

Звуков легкого сопрано,  
Тех, которые звенели  
В горле той, умершей рано,  
В навсегда истлевшем теле?

— Тот, кто создал их впервые,  
Быть не может на концерте.  
Музыку, забыв о смерти,  
Слушают еще живые.



Мерзлой густой пеленой  
Месяц высокий закрыт.  
Кажется город ночной  
Грудой кладбищенских плит.

Кажется, стаи волчат  
Воют и лают: поют.  
Может быть, бесы стучат  
В мой буржуазный уют?

Пальцы мои леденит  
Ночь в погребальном снегу.  
В розовый сад Гесперид  
Путь я найти не могу.

Мертвенной Летой течет  
Ночь в ледяных берегах.  
Ветер, и холод, и лед  
В дантовских адских кругах.



Многие мечтают: побываю  
В Уругвае или Парагвае!  
(Там народы целые погибли,  
Но летают мелкие колибри.)

На колибри милых мы смотрели  
В Гватемале и Венесуэле.  
Крылышки волчками у колибри  
(Птички очень мелкого калибра).  
Ими птичка так поспешно машет,  
Что глаза не замечают наши.

Многого не замечают люди:  
Плыли мы на белом теплоходе  
В голубеющем Карибском море —  
Не заметил глаз мой инфузорий.

Мы не видим (посланных нам свыше?)  
Злобных демонов и демонишек.  
Многого, что не материально,  
Мы не видим (— это так печально?).  
Как титанов в дивной Атлантиде,  
Никогда я ангелов не видел.  
Многого увидеть мы не можем.  
Я б хотел — Тебя увидеть, Боже.



Легкомысленно, прелестно,  
 Так восторженно-волшебнo,  
 Да! — забыться, закружиться...

Ну, душонка, — Синей птицей.

(«Самой синей? Самой райской?»)

Ну, не смейся, постарайся  
 Над бедой запеть житейской,  
 Над водой взлететь летеиской...

(«Слушаюсь! Сезам, откройся!»)

Вознесемса, воссияем  
 Над вороньим грубым граем.  
 Вырваться, освободиться...

(«Раз! забыться! Два! проснуться!»)

Ну, не надо насмехаться  
 Видишь: расцветает полночь  
 Так светло, как белый лотос.

Воздадут тебе сторицей  
 Там, где туча серебрится.

Ну, душонка, — Синей птицей...





Все хочу я подумать о смерти.  
Дождь и ночь. Ай люли, ай люлю!  
Вот «последняя воля» в конверте.  
Скоро к чертовой бабушке, черти,  
Я житейскую прозу пошлю!

Надоели земные уроды  
И теченье уродливых лет,  
Неудачи, обиды, невзгоды.  
О, прожить бы последние годы,  
Как волшебно-нарядный балет!

Может быть, это будет картинно:  
В розовато-жемчужном трико,  
Улыбаясь, качаясь змеино,  
Смерть, пленительная балерина,  
Подбежит на пуантах легко.



О продолжительности жизни  
 Статистики нам говорят,  
 Что, если б только не болезни,  
 Мы жили бы сто лет подряд.  
 (Осенний день, больничный сад.)

Вчера Иван Петрович умер.  
 Теперь он в небе, новосел  
 (Как пчеловод среди желтых пчел?).  
 В одной из одиночных камер  
 Он годы долгие провел.

За годы жизни он — не спорьте —  
 Немало горя перенес.  
 (Теперь — среди высоких звезд?)  
 Но важен и другой вопрос:  
 О продолжительности смерти.



Парижская старая пена,  
Осенняя серая Сена,  
Сырая стена.

И снова — привычное дело,  
И снова — прильнувшее тело,  
Где мало тепла.

И дождик мерцает над миром,  
Над этим болезненным жиром,  
Над черным двором.

К холодным отелям-постелям  
(По дням, по часам, по неделям)  
Под нежным дождем.

И видеть не грусть и не муку,  
А грудь и нежнейшую руку  
С пятном, где укус.





Эта льдинка в хрустальном стакане  
Да, ледышка, растает сиянье.  
Ну и тай, ну и тай, ну и тай!

(А на полюсе солнечный глетчер  
Ослепителен, дивен и вечен,  
И, за вычетом холода, — рай.)

Уплывает, как тающий айсберг,  
Эта жизнь, и кончается праздник.  
Говорят: нынче есть, завтра нет.

Но душа, как бушующий гейзер,  
Вдруг прорвется сквозь холод и ветер —  
Или нет? Или да? Или нет?



В безвыходной тюрьме Необходимости,  
В застенке беспросветной Неизбежности,  
В остроге безнадежной Невозможности

Мне хочется Господней дивной милости,  
Мне хочется блаженной Отчей жалости,  
Мне этой безысходности не вынести!

Мне хочется прозрачности, сияния,  
Прощения, любви, освобождения,  
Свободы, благодати, удивления,  
Твоих чудес. Чудес! Преображения!

Мне хочется — из мертвых воскресения!





В серебряном небе звенели хрустальные  
птицы.  
Пустая тюрьма отзывалась Эоловой арфой.  
Белел водопад в синеве опустелой больницы.

Гуляли убитые в небе с Марией и Марфой,  
И раны их пели, как мелкие Синие птицы.  
Кровавые пятна в слезах целовали убийцы.

Последние слезы, как фейерверк, в небе  
сияли  
И Моцарт играл в облаках на хрустальном  
рояле.

Но ты не поверил, ответил: — Едва ли,  
едва ли.  
И глухо плеснули угрюмые воды Печали.





На последнем вскрытии  
врач обнаружил  
в моем организме  
неизвестные органы.

Ни один мне не нужен,  
могу подарить их,  
скажем, отчизне  
(вы растроганы?).

Если хотите,  
могу пересадить их  
(они — точно из белого теста)  
вам, любезный читатель, —  
если в вашем организме,  
как полагал Аристотель,  
есть свободное место.



Душа, душа, ты ванька-встанька,  
А мне — куда уж, не восстать?  
Огни земного полустанка —  
Без продолженья, так сказать?

Иван Ильич у Льва Толстого  
Увидел свет — об этом речь.  
Конец — или начало снова?  
Шпрехен зи дейч, Иван Андрейч?

Подходит срок и — битте-дритте!  
Печален, братцы, наш удел:  
Пожалуйте, милейший, бриться!  
«Пустынник ахнуть не успел».

Придется, кажется, расстаться  
С самим собой. Адье, мерси!  
А может быть... А может статься...  
До-ре-ми-фа, фа-соль-ля-си.



Где-то светлый Бог, где-то вечный свет.  
Предъявить бы счет, возвратить билет.  
Здесь нельзя дышать, мне темно от зла.  
Дай мне воздуха, света, тепла.

Но хотя я мучаюсь, маюсь, мечусь,  
Я билет возвратить боюсь.  
Белкой в колесе... Как рыба об лед.  
Предъявить не смея счет.

Ты увидел бы взмах моей руки  
Над мерцанием ночной реки?  
Ты увидишь тусклую тень — и пятно, —  
Если выброшусь я в окно?

Я не выброшусь. Я готов стареть,  
Чашу пить до конца, молчать, терпеть.  
И дождусь. Не будет грусти и мук,  
Вместо грусти будет — каюк.



Бабушка надвое сказала.

Смерть отсекает нам душу от тела  
 Помнишь, садовник рассек червяка?  
 Как извивались два узких куска!  
 (Черная грядка так жирно чернела.)

Ящерица, от врага убегая,  
 Хвостик оставит добычей врагу.  
 (Солнце легло на речном берегу,  
 И синева простиралась густая.)

Хвостик тот мутно-зеленый, о, стань  
 Ярким хвостом лучезарной кометы!  
 (Вот мы уселись у берега Леты  
 И облака — темно-серая рвань.)

Целым червем станет полчервяка,  
 Новым хвостом шевельнет саламандра.  
 Что же ты нам напророчишь,  
Кассандра?
 Ракушку вынь из речного песка.



В белой тундре слышен шелк:  
В снежной буре ходит волк.

Серый зайчик пробежал.  
Серый волк его задрал.

В жизни будущей, иной  
Станет волк большой свиньей.

Зайчик, перевоплотясь,  
Уж не зайчик, а карась.

Ни свинье, ни карасю  
Жизнь дожить не дали всю.

Но свинья в краю ином  
Стала розовым кустом.

Зайчик в круге бытия  
Воплотился в соловья.

Он не заяц, он не крот,  
И над розой он поет.

И, краса тех райских мест,  
Бывший волк его не ест.



Как будто серной кислотой  
Изъеден день мой золотой.

Я чувствую, хлоралгидрат  
Подсыпан в блекнувший закат.

Как будто усыпил морфин  
Игру лучей в снегу долин,

И черт насыпал мышьяка  
В морскую свежесть ветерка.

Пропитан едкой сулемой  
Безлунный, тусклый сумрак мой.

Я на ночь равнодушно пью  
Цикуту черную мою.

А звезды свысока глядят  
На грустный мир, на мутный яд,

Где проливает синеву  
Ночь в голубую трын-траву,

Где трын-трава растет ночным  
Противоядием земным.



Не дружеским, а вражеским посланием  
Отвечу тем, кто занят самолюбованием:

Желаю вам, Нарцисс, благополучно  
царствовать  
На пепельных развалинах души.  
Желаю Вам самодержавно властвовать  
В нечеловеческой глуши.

Пусть водяные пауки с кувшинками,  
С лягушечьими темными икринками  
Твое в пруду увидят отражение,  
Тобю восхитятся верноподданно:  
Пускай любуются безмерно преданно,  
С тобой, Нарцисс, разделят наслаждение.



Голые ветки деревьев, как легочные  
альвеолы.

И небо —  
Темно-серое на светло-сером. Ноябрь.  
Но я люблю смотреть на вид невеселый.  
Выплывает луна дебелой белой наядой.  
И снова — ночь, которой, впрочем,  
не надо.

А может быть — надо, для того чтобы  
ветер сильнее  
Шумел, провожая далекую тень Антиноя,  
Чтобы старые фавны плелись по взгорьям  
и долам,  
Чтобы вышел Овидий на мрачный берег Дуная  
Дать воздуха легким, дать крови сухим  
альвеолам  
И вспомнить, как ночью печальна природа  
земная.





Мало-помалу, мало-помалу,  
И вот и вся недолга.  
Будто подходит поезд к вокзалу  
И серебрятся снега.

Будто звучит труба Азраила  
На заснеженном пути.  
Многое было, многое сплыло.  
Крути, Гаврила, крути.

Мелет Емеля в белой метели:  
Эх, замело меня, друг!  
Сам Азраил свистит на свирели,  
И воют волки вокруг.

Жил потихоньку, жил помаленьку —  
Мелким, мелким шажком!  
Трудно плестись домой в деревеньку  
Под бесноватым снежком.

Нет, не подходит поезд к вокзалу.  
Жжет ледяная пурга.  
Мало-помалу, мало-помалу —  
И вот и вся недолга.



Они, пожалуй, полудики,  
 Но по-французски говорят.  
 В глухой столице Мартиники  
 Муниципальный тощий сад,

Мелькает юбочка цветная,  
 В бассейне луч на мелком дне,  
 И памятник напоминает  
 О Жозефине Богарнэ.

И профилем Наполеона  
 Украшен серый пьедестал.  
 О островок темно-зеленый!  
 Ты Корсикой, ты Эльбой стал.

И, наконец, святой Еленой —  
 Как много значат острова!  
 На Мартинике незабвенно  
 Звучат забытые слова.

Антильский ветерок струится,  
 Волнуя слабо цветники.  
 Креолочка, императрица!  
 Теперь вы где? Вы луч? Вы птица?  
 Ах, все на свете пустышки.



Даже в полночь — будничный мир,  
Скребется не призрак, а мышь.  
И в саду кружит не вампир,  
А летучая мышь.  
— Тоже мышь.  
Только мышь.

И печален будничный мир.  
Снова дождь и лай или плач.  
И вода за стенкой шумит  
С хриплым всхлипом, как плач.  
— Тоже плач.  
Только плач.

Может быть, мировая скорбь  
Не тоска, не скука, не боль  
И не грустный Богу укор,  
А зубная лишь боль.  
— Тоже боль.  
Только боль.



Ветер, сияя, качает  
 лепестки сверкающей зыби  
 и улетает.  
 Облака стоят над рекою,  
 Неверные вежи  
 летучей жизни.

Пусть остаются  
 прозрачно-пустые обрывки  
 от светлой жизни.  
 Или, пожалуй,  
 пусть себе тонут  
 лепестки мгновений,  
 качаясь над водоворотом.

Пусть они станут,  
 как беглая смутная стайка  
 мелкой рыбешки  
 в тускло-осенней утренней зыби  
 северной речки.



Работал бедный и устал.  
Засни, засни скорее!  
Ты выиграешь капитал  
В небесной лотерее.

Он спит и шепчет: о, о, о! —  
Как новый житель рая.  
Гуськом большие буквы О  
К нему бегут сияя.

И вот становится светлей  
В молчанье тусклой ночи:  
Идет процессия нулей  
Цепочкой, длинной очень.

Их увлекает за собой  
Большая единица.  
Тот чек небесно-голубой  
Соседу тоже снится.



Ну а ночью — пандемониум:  
 Завывают: улюлю!  
 И лежу — святым Антонием:  
 Искушения терплю.

Многokrылое чудовище  
 Прогнусило: — Согреши! —  
 Полукрысы-полуовощи,  
 Полуптицы-полувши.

Скачет, пляшет ведьма рыжая,  
 И козел-хамелеон  
 Звезды слизывает, прыгая,  
 И чернеет небосклон.

Жаба-мышь по телу катится,  
 Омерзительный гибрид,  
 И мокрица-карактица  
 Душу бедную чернит.

Погнались, шипя и квакая...  
 Но по струям дождевым,  
 Как по лестнице Иакова,  
 Подымусь, мерцая ласково,  
 В горний Иерусалим!



Морской огромной черепахе,  
Живущей дольше человека,  
Под туристические ахи  
Завидовал полукалека.

Плыла — крылато и могуче —  
Орлиная и костяная.  
Жестоко-жесткий лик, колючий,  
Был древен, резок, страшен — знаю.

А бабочка, колеблясь нежно,  
Желто-оранжевой игрушкой  
Легко летала, однодневка,  
Над долгожительницей грузной.

Увы, тускнело на востоке.  
Ну, бабочка? Не знаешь, верно,  
Что кто-то жизненные сроки  
Распределил неравномерно?

Но, в общем, глядя — в смутном страхе —  
На тень, скользившую без шума,  
Я думал не о черепахе,  
И не о бабочке я думал.



Сегодня я сразу узнал  
 тот ветер вечерний, весенний, —  
 тот ветер начала апреля тридцатого года.

Он снова вернулся на землю  
 с какой-то планеты,  
 которой не видно отсюда.

А прошлой зимой  
 как-то вечером вдруг я узнал  
 тот ветер конца февраля тридцать  
 первого года —  
 почти уж полвека назад!

Свидетель далекого счастья,  
 Свидетель свидания с ней!

Ну да, возвращается ветер  
 на круги своя. Только вечер —  
 вот вечер сегодня другой.





Наплывает черный парус,  
Навевает холодок,  
Зарывает глупый страус  
В страхе голову в песок.

Тоненько песок струится  
Сквозь песочные часы,  
Падают его крупницы  
На дрожащие весы.

Я любитель долголетия,  
Оттого моя тоска,  
Что останется на свете  
Просто горсточка песка,

Что навеет черный парус  
Нежитейский холодок,  
Что зарюют, глупый страус,  
Наши головы в песок.

Эй, постойте, дайте срок!  
Не печалься, милый страус:  
Я наперекор судьбе  
Жить подольше постараюсь —  
И советую тебе!



Плыл лунатик в лунном свете,  
 Словно в золотой карете,  
 Превращал подлунный мир  
 В пасторальный Монплезир!

Нам с Фортуною милейшей,  
 С маленькой жеманной гейшей,  
 Гейшей стилия рококо,  
 Танцевать весьма легко!

Думать ни о чем не надо,  
 Легкая арлекинада —  
 Пируэты, антраша,  
 Реет юбочка, шурша!

Стрекозой, не муравьем  
 Мы росинку с неба пьем.

Больше никаких мучений:  
 Сдул пушинку светлый гений.  
 Ни финансовых забот:  
 Золотой фонтанчик бьет!

Спросят: «Вам не надоело?»  
 Надоело, надоело!  
 «Лето целое пропела!»  
 Но — сие не ваше дело!



Романтики твердили нам о сердце  
И скорби мировой, земном Weltschmerz'e.

Тот лунный полумрак в глухих руинах  
И фосфор глаз змеиных и свиных...

Но кладбища, осенние, в Италии  
Меня сильнее клонят к меланхолии.

Я там из-за большого миокардия  
Всегда прошу у Бога милосердия.

Но жалоба моя, что скоро тризна,  
Смешная смесь лиризма и трюизма.



Не говоря о том, что из потемок,  
 Заполнивших душистый сеновал,  
 Мы вышли в сад, и серенький котенок  
 Легчайшим одуванчиком стоял;

Не говоря о том, что в клетке замер,  
 Еще не ставший кроличьим рагу,  
 Тот белый кролик с алыми глазами,  
 Как ягодами алыми в снегу;

Не говоря о том, что шел цыпленок  
 К другому, тоже белому, и цвет  
 Их вырезных и розовых коронок  
 Я не забыл за столько долгих лет...

Но я забыл о петушином бое,  
 Забыл, что кролику несдобровать,  
 Когда сверкало небо голубое,  
 Переходя в земную благодать.



В газете — новость: найден таракан!  
Пора! Порадуйтесь за таракана!  
Он очень стар: почти как океан.  
Чуть-чуть моложе океана!

Точней, ему семь миллионов лет. Точней,  
Он жил семь миллионов лет назад.  
Окаменел. Лежал с тех давних дней.  
Вот ты попробуй так: окаменей  
На семь с шестью нулями лет.

— Окаменелый таракан? И что ж?  
Иной болван гораздо тараканей,  
Окаменелее, чем он. На что ж,  
Что толку в тараканьем камне?

И для чего 7 000 000 лет? Шепнем Судьбе:  
Одну бы миллионную — семь лет  
Отнять от скуки тараканьей,  
Добавить нам с тобой. Семь лет тебе,  
Семь — мне. И жили бы: сперва твои семь  
лет,  
Потом — мои. Предел мечтаний.



На прелестном острове Гаити,  
В пестром городе Санто-Доминго,  
Мы сначала поиграли в бинго,  
А потом поехали, глаза,  
В поисках заманчивых открытий,  
И в этнографическом музее  
Проводник сказал нам: «Посмотрите».

Скрюченный скелет лежал в витрине,  
Челюсти скривились в страшной корче.  
«Задохнулась, да, в песке и глине,  
Не хватало воздуха, короче, —  
За грехи живую закопали:  
Изменила, обманула мужа».  
Стало тихо в охлажденном зале.  
В женских лицах я заметил ужас.

Долго, может быть, не засыпали  
Милые туристки. Их пугали  
Некот'рые странные детали  
Мира, где грехи не торжествуют:  
Как ее землю засыпали —  
Теплую, кричащую, живую.



То носороги, то утконосы  
Нам задавали такие вопросы:

«Отчего вымираем мы, как прежде  
атланты?  
Разве мы старые эмигранты?»

Мы отвечали: «Молчите, уродины!  
Вы не умрете вдали от родины!»

Свои чувства следует скрывать искусно,  
Но все это, в сущности, очень грустно.

Привет носорогам и утконосам!  
Мы все, господа, остались с носом.



Блудница мир, сей темный свет!

*Григорий Сковорода*

«Ах, ваша планета — новый Акрополь!»  
 Робот-акробот глотает закуски.  
 (Смотрят микробы, москиты, моллюски.)  
 «Сейчас выступят мистер и миссис Джоппль,  
 Не то по-китайски, не то по-пруски!»

(Над новой Планетой парит Панургий,  
 Нафимиамен, нанафталинен.  
 Дают законы Лемуры-Ликурги  
 Полупавианам, полупавлинам.)

«Я к вам приехал с культурным обменом,  
 Я либерал, а вы прогрессивны.  
 Вашим планетарным, планетным стенам  
 Я говорю: Good morning, good evening!»

Планетарный царь случил пилигрима  
 С пандой китайской. Китайские тени.  
 Нет мелодрамы, одна пантомима:  
 На фоне огня, и неба, и дыма  
 Жестикулирует Рок-шизофреник.





Тоска по родине! Давно  
Разоблаченная морока!

*Марина Цветаева*

За тридевять небес твоя хата с краю.  
Яблоня от яблока далёко-далёко.  
Душа, аукнись! Судьба, откликнись!  
Сам аукну, сам и откликнусь.

Пить или не пить? — спрашивал Гамлет.  
Вольному рай, а пьяному воля.  
Мели, Емеля, на мель мы сели.  
Все перемелется, му́ка будет.

Улита поедет, ветер залает.  
Собака уносит, когда-то будет?  
За морем телушка, душка, полушка.  
С миру по мышке, голому кошка.



Во времена Данте Флоренция  
называлась не Firenze, как  
теперь, а Fiorenza.

Да, мы эмигранты, «переселенцы»,  
«Отщепенцы»... Что ж, не грусти.  
Из Флоренции, родной Фиоренцы,  
Флорентинцу Данте пришлось уйти.

Могила в Равенне. Fiorenza mia...  
Но все флорентинцы знают о нем.  
Приятный сюрприз будет, если Россия  
Эмигрантских поэтов почтит... потом.

Свезут, реабилитированных посмертно,  
На Литераторские Мостки,  
И уже не будет, почти наверно,  
Ни одиночества, ни тоски.



Полночный остров Молчанья,  
Пустынный берег Забвенья.  
Последние тени звуков,  
Прощальное эхо света.  
Уйдем, собеседник безлюдья!

Сердце, сосуд потемневший,  
До краев наполнено ночью.

Оркестры листвы осенней  
Затихли, и музыка стала  
Далекой полночной стаей.  
Уйдем, собиратель безмолвий!

Довольно гулять по саду,  
Его нет, пойдем поскорее  
Домой (куда — неизвестно),  
Наследник талого снега,  
Приятель тающей тучи,  
Плохой переводчик ночи.



И я свидетель обвинения  
(Я плакал чаще, откровеннее),  
Но, принимая во внимание,  
Что при ближайшем рассмотрении  
Черты божественной гармонии  
Заметить можно в мироздании;

Что предусмотрено заранее:  
Мое ночное задыхание,  
Житейские колючки-тернии,  
Большое небо предвечернее  
(Оно становится печальнее);  
Что, что скажу я в заключение?

Что из небесной Руритании,  
Где встретят нас благие гении,  
Приплыло облако весеннее?  
Что нет состава преступления?  
И что Виновник мироздания  
Заслуживает снисхождения?



Пестрел и бурлил мексиканский базар,  
И воздух клубился, как быстрый пожар.

Клыкастая ведьма ждала за лотком,  
И странные сласти лежали на нем:

Смотри — марципановые черепа!  
И ведьмин товар покупала толпа.

Орнамент по черепу ярко-лилов,  
Желтей канарейки огрызки зубов.

Два синих, блестящих, больших леденца —  
О, сахара слаще глаза мертвеца!

Кондитерский череп — сладчайший десерт,  
Но я не уверен, что сладостна смерть.  
Совсем не уверен, что сладостна смерть.



Аквариум тихий и мрачный,  
 Но есть в нем серебряный дым.  
 А рыбки как будто прозрачны  
 И светом полны золотым.

Так плавны ленивые позы,  
 Так райски-нежны плавники!  
 Как будто бы с розовой розы  
 Упали в ручей лепестки.

Как эльфы из радостной сказки,  
 Пажи при подводных царях!  
 Зачем эти нежные краски  
 Живущим глубоко в морях?

Мерцайте, морские созданья,  
 Вы так золотисто-тихи.  
 Такое ночное мерцанье  
 Порой излучают стихи.

В своем фосфорическом свете  
 Стихи проплывают, плывут.  
 Блестят серебристые сети.  
 Но люди едва ли заметят,  
 Едва ли, едва ли поймут.



Я недавно коробку сардинок открыл.  
В ней лежал человечек и мирно курил.

«Ну, а где же сардинки?» – спросил  
его я.

Он ответил: «Они в полноте бытия.

Да, в плероме, а может, в нирване они,  
И над ними горят золотые огни,

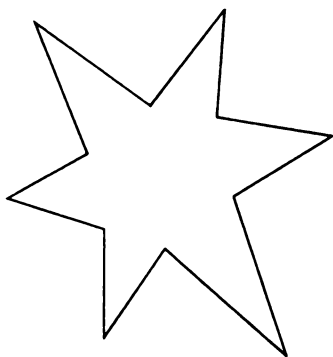
Отражаясь в оливковом масле вот здесь,  
И огнем золотым пропитался я весь».

Я метафору эту не мог разгадать.  
Серебрила луна золотистую гладь.

И на скрипке играл голубой господин,  
Под сурдинку играл он в коробке сардин,  
Под сардинку играл – совершенно один.



ΑΥΤΟΓΡΑΦ







Займите где-нибудь  
 шестьдесят пять миллиардов световых лет,  
 пускайтесь в путь  
 и долетите (это не трудно совсем,  
 не трудно, нет)  
 до галактики М 87  
 (М как мамма mia, восемь и семь).

Там в середине  
 плотная темная масса  
 в пять миллиардов раз больше солнца,  
 вроде пустыни  
 (и – контраст после первого класса!);  
 Там, мой друг, вам навеки остаться придется.

Ведь плотная темная масса  
 держит вокруг себя скопище звезд и планет,  
 будет держать и вас – а  
 вы скажите, что вы астероид,  
 и висите в звездной пыли.  
 Кроме того, на обратный путь до Земли  
 шестьдесят пять миллиардов световых лет  
 тратить не стоит.



Гекатомбы, катакомбы,  
Ближний, дальний — улюлю!  
Я щелчком нейтронной бомбы  
Удивлю так удивлю!

Взять плутония, урана  
(Дважды надо взять уран) —  
И вблизи Альдебарана  
Наш очутится баран.

Может, Бог тебе поможет.  
Человечество, спасайсь!  
Если кто, конечно, может...  
Кто не может — не спасайсь!

Кто американ, кто рашен,  
Кто алкаш, а кто зека.  
Мы с нейтронами отпляшем  
Гопака и трепака!

Я живу — смешное дело! —  
В стороне от здешних мест.  
Эх! среда меня заела!  
И четверг меня заест!



Благоразумие — безумие,  
 Всего разумнее бедлам.  
 Я разум, мертвенный, как мумия,  
 Пошлю Эразму в Роттердам.

Лисица превратится в ласточку,  
 А я ничуть не удивлюсь;  
 Я превращу ее в ракеточку,  
 Компьютерами заслонюсь.

Ворона полетит в прикрытие —  
 В подлодку превратим ее.  
 Прелюбопытное событие —  
 Отплытие в небытие!

Домá почти не окровавлены,  
 А дыры покрывает ночь.  
 На синем черные развалины:  
 Гоморра и Содом точь-в-точь.

Адью! Примите уверения!  
 Шлём термоядерный привет!  
 Переселяемся в селения,  
 Которых не было и нет.



Дамоклов меч над прокрустовым ложем,  
Дамоклов меч,  
И нам говорят, мы должны и можем  
На ложе лечь.

А слева Сцилла, а справа Харибда —  
Я не Одиссей!  
В пучине морской трирема погибла  
С добычей всей!

В зловещей воде стоголавая Гидра,  
Но ты не Геракл.  
Что тебе сказал премудрый и хитрый  
В Дельфах оракул?

Выбросив в море нить Ариадны,  
В черный прилив,  
На гору тянешь камень громадный,  
Тезей-Сизиф?

Всё перетрут (работай скорее!)  
Терпенье и труд,  
И даже веревку у Вас на шее  
Они перетрут.



Мир, созданный Богом, и мир, возникший  
 Сам по себе...  
 Который из них, мой ангел притихший,  
 Понятней тебе?

Философы лгут. И лгут богословы.  
 Физик, о чем ты? Брось.  
 Законы природы, закон Иеговы —  
 То вкривь, то вкось.

О жизни людей, о жизни растений...  
 И Зло, и Грех.  
 Нет, нам не понять ничьих объяснений,  
 Ни тех, ни тех.

Миллионы лет — светлее, темнее —  
 Слепы, глухи...  
 Но луч, возникший на Кассиопее,  
 Лег на стихи.

Ты думал о смысле жизни, о рае,  
 И ты удивлен.  
 На строчки твои полутень бросая,  
 Желтеет клен.



Уйти? Остаться? Сердце мается.  
«Свобода воли»... Полно врать:  
Свободой воли называется  
Необходимость выбирать.

А выбирать — не знаю, стоит ли.  
Пусть лучше выберете Вы.  
Ах, две охапки сена стоили  
Ослу ослиной головы:

Две одинаковых (Нелепица!  
Ну хоть бы спор Добра и Зла!),  
И между ними все колеблется  
Тень Буриданова осла:

Какой охапке предпочтение  
Отдать? Какую первой съесть?  
Стоял осел в недоумении,  
Пока его не съела смерть.



Я думал перевоплотиться  
 В красавицу или красавца,  
 В Нарцисса или Царь-Девицу,  
 Но, вероятно, не удастся.

Я собирался стать Жар-Птицей,  
 Павлином, Фениксом, секвойей,  
 Орлом, который громоздится  
 Над снегом горного покоя.

Мечту на мелочи разменим:  
 Придется удовлетвориться  
 Смиранным перевоплощением  
 В рябину, сосенку, синицу.

А может быть, и это много,  
 И в лучшем случае я стану  
 Туманом над лесной дорогой,  
 Дымком, примешанным к туману?





Пляшет, скачет темный Рок,  
То ли демон, то ли дервиш.  
Он тебя — в бараний рог.  
Не умолишь, не удержишь.

Ну а все же — шевелись!  
Пробуй жисть отдать не даром.  
Прыгай вверх и прыгай вниз.  
Стань джигитом, стань кентавром.

— Мистер Рок! Мадам Судьба!  
Где уж нам уж, где уж нам уж...  
— Ты ж ишак, Али Баба!  
Шевелись! Скачи к Сезаму!

Сквозь туман и сквозь мираж  
Извивайся, изменяйся.  
Делибаш, пляши чардаш  
На Пегасе, на Парнасе!

Раз — и прошлое не в счет!  
Перевоплотись под старость!  
Кто младенца понесет?  
Белый ангел? Белый аист?



Болею манией величия!  
 (Смиреньем не спасаю душу я!)  
 И на людское равнодушие  
 Я отвечаю безразличием.

Сосед любезный homo sapiens,  
 Обмениваемся поклонами.  
 Я уезжаю на Галапагос  
 За черепахами зелеными.

Вот поймана большая партия.  
 Читаю им стихи (о пьянице).  
 Ко мне одна с восторгом тянется  
 Из-под наскучившего панциря.

Другой милей стихи об аисте,  
 О розе, небе, свете, ласточке.  
 Она кивает понимающе  
 И аплодирует мне лапами.

И носороги с осьминогами  
 Приходят слушать... (Твари Божии!)  
 Сравни со многими двуногими:  
 Они совсем не толстокожие!



Под шум Атлантического океана  
Мы встали поспешно, особенно рано:

Меньше чем через пять миллиардов лет  
Не станет океана, не станет, нет!

Он весь улетучится, испарится,  
Тебе и мне будет только сниться!

(Спроси по-пеликаньи у пеликана:  
Заскучаем, правда, без океана?)

Через неполных семь миллиардов лет  
Ты уж не захочешь встречать рассвет:

Солнце станет светлее в тысячу раз —  
Это будет вредно для наших глаз.

Тем более, что Солнце Землю спалит,  
И нас эвакуируют в сад Гесперид.

И золотые яблоки в нежном саду  
Нам заменят Солнце, нашу звезду.



То то, то другое, то то, то другое,  
 А хочется озера, сосен, покоя.

Среди ежевики, синики, черники —  
 И голос души, словно тень Эвридики.

И я очутился в той роще осенней,  
 У берега детских моих впечатлений.

И больше не прибыль, не убыль, не гибель,  
 А лист, пожелтелый, на водном изгибе

И жук, малахитовый брат скарабея,  
 Жужжащий в траве, от нее голубея.

Там, словно под тенью священного лавра,  
 Корова лежит с головой Минотавра,

Египетским богом там кажется дятел  
 И я наблюдаю, простой наблюдатель,

За уткой, которая в реку влетела,  
 Как в небо — душа (только более смело?).



Кого-то кто-то пожирает,  
Как полагается в природе,  
Живьем — и облако сияет  
На розоватом небосводе.

О да, пожравший будет пожран,  
Возмездие осуществится:  
В блаженный августовский полдень  
Судьба расправится с убийцей.

Ну что ж! Великий Архитектор,  
Творец загадочной вселенной,  
Господь, непостижимый Некто,  
Распорядился тварью бренной.

Тому, кто здесь избегнет казни,  
Грехи припомнятся за гробом.  
Но разве он виновен, разве,  
Когда такой он создан Богом?

И пламенной расцветкой тигра,  
Который разорвал ягненка,  
Я любовался. Помню игры  
Тигрят — и клетку. Очень звонко

Заржала зебра. Лебедь плавал.  
Я думал о свободе воли.  
И белый алоглазый кролик  
Смотрел на черного удава.



Я говорил глухому перуанцу  
 На неизвестном, странном языке:  
 — Вы разучились поклоняться Солнцу,  
 И ваши храмы — в щебне и песке.

И девушек и юношей прекрасных  
 Вы в жертву не приносите давно.  
 И я узнал из ваших взглядов грустных,  
 Что вам с богами быть не суждено.

Да, племя кечуа, потомки инков,  
 Империя — закрытая тетрадь.  
 Огромных и таинственных рисунков  
 В пустыне Наска вам не разгадать.

Я под дождем бродил по Мачу-Пичу.  
 Дождями стерт был идол-ягуар.  
 Я удивлялся грозному величью  
 Не города пустынного, а — гор.

Империя? Ни храмы, ни чертоги —  
 Людишки в бурых тряпках, бурый хлам.  
 И лепятся хибарки и лачуги  
 К могущественным скалам и горам.

Ты слышишь, а? Империи не вечны.  
 Развалины — на фоне гор и скал.  
 Но перуанец — спал, лежал, беспечный,  
 И не ему я это говорил.



Какие вокруг образины,  
Какие уродины тут!  
Крылато-зубчатые спины  
Угрюмую душу гнетут.

Уйдем от зеленых чудовищ,  
От синих страшилищ-червей  
На Остров Небесных Сокровищ,  
Где славит бессмертный Орфей

Богов. Где легко и прозрачно,  
И жизнь — как большая звезда.  
Туда — от грязцы аммиачной,  
От низости злого труда,

От низости злого безделья,  
Дельцов, подлецов, дураков,  
От злого змеиноного зелья  
Улыбок, оскалов, щипков, —

Туда, где ничто не похоже  
На скуку наскучивших мест...  
Но райское пение тоже  
(Всю вечность!) тебе надоест...



Не феями и не каменами,  
 Не ходом звезд или луны,  
 А хромосомами и генами  
 Нам роли определены.

Долой, наследственная химия,  
 Моя врожденная беда!  
 Переменю тебя, как имя, я  
 И улечусь в никуда!

Неясно, говоря по сути, нам,  
 Где — в царстве света или тьмы, —  
 Чьим — добрым или злым — компьютером  
 Запрограммированы мы...

Хай, Микки-Маус! Лапку миккину  
 Жмет вольнодумная душа:  
 Сейчас я на прощанье выкину  
 Невиданное антраша!

Из картотеки смотрит рожица,  
 Пищит: — Не разводи бобы.  
 Ведь точно жизнь твоя уложится  
 На карточке твоей судьбы.





Нейтронная бомба не тронет меня.  
— Не тронь меня, бомба, — я тихо скажу. —  
Мой Ангел стоит, от печали храня.  
К тому же я занят: я рыбу ужу.

А впрочем, кончаются годы мои.  
На дереве жизни последний листок  
Трепещет над холодом темной струи.  
Прощай, моя рыбка! Прощай, червячок!

Но мне говорят, что конец не конец,  
И ждет меня встреча в небесной стране.  
Там душу простят, поведут под венец,  
И это, наверно, понравится мне.

Не надо бояться. Там вечность и рай.  
Я смело вступлю на таинственный мост.  
— О, ехать так ехать, — сказал попугай,  
Когда его кошка — из клетки — за хвост.



Хотя цвели, так нежно-пышно, вишни,  
 И горлышко настраивала птица,  
 И, может быть, прощал грехи Всевышний  
 И воздавал за доброе сторицей;

Хотя на столик, бывший в полумраке,  
 Вдруг полилось полуденное пламя  
 И стали уши, острые, собаки  
 Большими розовыми лепестками;

Хотя сияли чашка и тарелка,  
 И луч висел небеснейшим отрезком,  
 И за окном фонтан вдруг загорелся,  
 Волшебный Феникс, несказанным блеском,

И все окно зажглось алмазной гранью —  
 Но ты был грустен, смутно недоволен:  
 Тебе хотелось райского сиянья,  
 Которого ты тоже недостоин.



Серели, желтели развалины  
(Колонны и – старец седой).  
Три облака были расставлены  
Над сине-зеленой водой.

Казались янтарными сливами  
Тяжелые бусы твои,  
И бусинками некрасивыми  
Казались глаза змеи.

Сияние было мелодией,  
А тоненький хамелеон  
Застыл прекрасной уродиной,  
Знакомый с древних времен.

Был близок берег Далмации,  
Был парус и кипарис.  
Одной обнаженной грации  
Дарил улыбку Парис.

А может быть – берег Аркадии  
И звоны дриад (и цикад).  
Овальные две виноградины  
Слегка отражали закат.



Мраморный фонтан многоузорный,  
 Опоясанный арабской вязью.  
 Голубой павлин глотает зерна.  
 Он персидский принц — не видишь разве?

Розовеет персик, дозревая.  
 Он, конечно, самым нежным станет.  
 Птица из чирикающей стаи  
 Клюнула его, червя пугая.

Розовато-желты абрикосы,  
 Изжелта зеленоваты сливы.  
 Золотые пчелы или осы  
 Населяют сад листошумливый.

Источил жучок мирок пахучий —  
 Листья ароматные шалфея.  
 Свет сквозь них теперь проходит лучше,  
 Тень узорчатая кружевнее.

Белый голубь, мертвый, у беседки,  
 Где Зарема пела о Селиме,  
 И плющом задушенные ветки  
 С листьями увядшими, сухими.



У фракийского берега  
Тень сиренево-палева,  
Но осеннее дерево  
Превращается в зарево.

Мало сосен и вереска,  
Зелень — чахлая, серая.  
Там, где горы Болгарии,  
Лиловатое марево.

Тени юга и севера,  
Тени древней истории.  
У дверей баптистерия  
Тень тирана Тиверия.

С юга, с моря Эгейского,  
Веет арфа Эолова.  
Небо отсвета райского,  
Море ярко-лазорево.

Арка старая, серая,  
В желтых розах (из Персии),  
И бормочет Эгерия  
О неясном бессмертии.



По долине пролегает  
Путь извилистый земной,  
А долина зарастает  
Лебедой и беленой,

Лопухом, чертополохом,  
Чернобыльником, репьем.  
Мы с покорным, слабым вздохом  
Воздух горьковатый пьем.

Но бормочем, как ни странно,  
Про заоблачный Эдем,  
Где огромная поляна  
Орхидей и хризантем.

Гиацинты и левкои  
Там сияют и поют  
И придумавшим такое  
Предлагают там приют.

И, как синие стрекозы,  
Души реяли, пока  
В белые большие розы  
Превращались облака.



Слышно, как Лермонтов песню заводит на Тереке.  
Слышно – доносится выстрел из Южной Америки.

Видно, как нищий замерз на холодном пристанище.  
Слышно – тоскует солдат по убитом товарище.

Видно, как вишни цветут, умирают в Японии.  
Слышно, как физик жене говорит о плутонии.

Видно, как бронзовый Царь поскакал за Евгением.  
Видно, как месяц встает над последним сражением.

Слышно, как Данте бормочет стихи о чистилище.  
Слышно – в пещере взрывается бомбохранилище.

Видно – казнимый глядит на летучее облако.  
Видно – на кнопки нажали два розовых робота.

Слышно – шумит Карфаген, победителя чествуя.  
Видно – под Петей Ростовым лошадушка резвая.

Впрочем, не стоит так долго о смерти, о гибели?  
Скажем: на Остров Блаженных блаженные прибыли?



– Все будет прекрасно, – сказал Гавриил Азраилу:  
– Небесные силы разгонят нечистую силу.

– О, если б скорее! Здесь трупы святых полководцев.  
Убил Заклинателя змей Отравитель колодцев.

О, если б скорее! Мне грустно, мне Зло надоело,  
Наскучило Зло, я тоскую в краю Вельзевула.

И темный Борей навевает кручину рутенам,  
И тучи глухие над тихим твоим Борисфеном.

И злобный стервятник уносит к чудовищам темным  
Ту светлую душу, ту Деву – мы знаем, мы помним.

А все-таки верь, что достанется Свету победа,  
Что снова к Персею, сияя, летит Андромеда,

Что срубит герой, разрубив наши рабские узы,  
Смертельную голову многозмейной Медузы.

Мне снится, что Зло обезглавлено светлым Персеем.  
Мы ждем – но дождаться, мой друг, мы уже не успеем.





Окружена публичными домами  
Стариннейшая церковь в Амстердаме.  
В любом окне по непречистой даме.

И прислонились к стенке писсуара  
Младой турист, девица и гитара.  
Над ними свет закатного пожара.

И отражается в воде канала  
Красавица с таблеткой веронала.  
Она стареет — и она устала.

И тридцать три малайца-сутенера  
(Для девочек непрочная опора)  
К двум неграм подошли — для разговора.

И девочка, купившая наркотик,  
Ругает их, кривит увядший ротик.  
К ней ковыляет бледный идиотик.

По-разному живут на свете люди.  
Большой закат напоминал о чуде,  
А проповедник говорил — о блуде.

Свобода выбора... Свобода воли...  
А если всем определяет роли  
Сам Саваоф на огненном престоле?



## ПАМЯТИ ЯКОВА ВИНЬКОВЕЦКОГО

В этом доме живут долгожители,  
Обыватели и отравители  
(А напротив живут – небожители).

Вечерами весенними, летними  
Тридцать ведьм развлекаются сплетнями,  
Осуждают губами столетними.

И тринадцать вампиров морщинистых  
(С париками на лысынах глинистых)  
Разъезжают на бесах щетинистых.

И выносят они обвинительный  
Приговор пришлецу из пленительной  
Светозарной страны, небожительной:

«Да, казнить! Он соседей сторонится,  
У него от безделья бессонница,  
Он до нашей еды не дотронется,

Он питается ветром и грозами,  
Говорит он не с нами, а с розами,  
Облаками, туманами, звездами».

Стал преступник скромнее, смиреннее.  
Поздно! В тихое утро весеннее  
Приговор – приведен – в исполнение.



Новорожденные младенцы  
Усердно машут кулачками.  
Участвовать хотят пришельцы  
В житейской драке — или драме?

Наверно, их предупредили,  
Что в жизни драться им придется.  
В краю усилий и насилий  
Дерутся пухлые уродцы.

Вот если бы не кулачками,  
А крылышками вы махали!  
В краю, где правит хмурый Каин  
С его угрюмыми грехами,

Вы жить не стали бы. Скорее  
Повисли бы у колыбелей  
(Нет, не летая, нет, не рея)  
И холодели бы, твердели —

И улыбались, недвижимы,  
Как равнодушные скульптуры,  
Как мраморные херувимы,  
Как золоченые амурь.



Лежит потемневшее сено  
 В пустом вечерющем поле.  
 Лежит непроросшее семя,  
 Своей не сыгравшее роли.

Так холодно, блекло и немол  
 Так осень белеса и вяла,  
 И небо — как бледная немочь  
 Над этой природой усталой.

Три птицы, как жалкая мелочь,  
 Разбросаны в тусклой печали.  
 Безлюдно. Листва отшумела,  
 Как будто и ветки устали.

Ты скажешь: наскучивший символ,  
 Давно надоевшая притча.  
 (Лишь мерин, облезлый и сивый,  
 Заржал, свою молодость клича.)

И ночь от усталости, что ли,  
 Подходит неспешно, несмело.  
 И всё это, в общем, без боли,  
 И всё — мое частное дело.



Нет, не капризничай, не привередничай,  
Скажи Создателю спасибо.  
Не будь, душа, упрямой поперечницей,  
Взгляни смиреннее на небо.

Печально, что тебе совсем не нравится  
Тобой одушевленный грешник,  
Что не сужден тебе, молодка-девица,  
Прекрасный праведник-нездешник,

Что не живем с тобой в закатах розовых,  
В жемчужно-яшмовых палатах,  
Что сохнем под житейскими угрозами,  
В печально-будничных заботах.

А все же — сад с левкоями, тюльпанами,  
И зреет нежная малина,  
И вечерами тихими, туманными  
Мы долго слушаем Шопена.

А в полдень пчелы на кустах акции  
(Жаль, кончился сезон камелий),  
Котенок спит на книге о Венеции,  
Куда вернемся мы в апреле.



Куда-то плыть осенними туманами  
 И задремать и вдруг проснуться:  
 Оранжевыми инопланетянами  
 Полно летающее блюдо.

Они покачивают длинными антеннами,  
 И всё здесь кажется им странным:  
 Им непривычно плыть туманами осенними  
 Навстречу варварам-землянам.

И, поборов естественную ксенофобию,  
 Они кричат: «Людишки, здрасте!  
 Вы созданы, хи-хи, по образу-подобию  
 Всевышнего? Вы это бросьте!»

И уверяют голосами очень тонкими:  
 «Самообман смешон, опасен!»  
 И машут угрожающими перепонками,  
 И улетают восвояси.

Мы не Аттилы, не Калигулы, не Дракулы;  
 Но и на Бога непохожи?..  
 Да, но пускай нам это скажут ангелы,  
 Сияя в небе светлом, Боже.



Мы положим на чашу весов  
Тонкий запах осенних лесов,  
Серо-сизые краски реки  
И в полях негустые дымки,  
Журавлиный стрелчатый полет  
И закат над туманом болот.

Мы положим с тобой на весы  
Тишину в голубые часы,  
Вечереющие облака,  
Желтоватый огонь маяка,  
Синеву, окружившую мост,  
И мерцание маленьких звезд.

Мы положим с тобой на весы  
Лунный отблеск речной полосы,  
Понемногу сходящей на нет;  
И уже проступавший рассвет,  
Легкий ветер в осоке сырой,  
След лазури над белой горой,  
Засиявшую каплю росы —  
Всё положим с тобой на весы.

Лепесток в озаренном пруду,  
И от лодки в пруду борозду,  
И зыбучую тень от листка  
Над полуденным жаром песка,  
И — «ау!» молодых голосов —  
Всё положим на чашу весов.



Плачешь, Психея-Аленушка?  
 Это еще не Харонушка,  
 Это не Стиксик, не Летушка,  
 Не Флегетончик. Не Смертушка:  
 В лодке рыбачит на озере  
 Дачник, хоть время и позднее.

Позднее... Верно. Со временем...  
 Яблочко-времячко котится,  
 Котится, да не воротится, —  
 Пели в России в гражданскую.  
 Вот потому я и пьянствую:  
 С нашим земным воплощением  
 Нам расставаться не хочется.

Смотрим, почти в восхищении,  
 Мы на туманы осенние,  
 Ветки корявые дерева,  
 Лошадь у низкого берега.  
 Здесь и природа, я чувствую,  
 Чем-то похожа на русскую.

Ждет нас, душонка-Аленушка,  
 Долгий беспамятный сонушко.  
 Лучше подольше попробуем  
 Здесь оставаться — подобием  
 Божиим, хоть приблизительным,  
 Прежде чем стать небожителем.





## PALAIS DE JUSTICE

Дворец Правосудия  
В Брюсселе есть.  
Его Многопудие  
Значит: Месть!

Он символ насилия,  
Армагеддон!  
В нем злая Ассирия,  
Злой Вавилон.

Судья и важный, и грозный:  
«Ваша честь!»  
А там в Брюсселе бронзовый  
Мальчик есть.

Стоит мальчишка голенький,  
Виден весь.  
Что было бы, вздумай маленький  
Пить и есть?

Придя на базар,  
Он украл бы полрыбы,  
И его привели бы  
В грозный зал.

В торжественном зале  
Жутко ему.  
Злые судьбы послали  
В злую тюрьму.

Но он убежал —  
Он очень мал.  
Никто не заметил,  
И дождь хлестал.

Бежал сквозь мглу —  
Неважно ведь, где:  
Стал на углу  
По малой нужде.

На узенькой улочке  
Мальчик стал.  
Пускает струечки.  
Вот нахал!

Скалы вековечней  
Палэ де Жюстис.  
Но человечней —  
Мэннекен-пис!



Конечно, бывало и хуже,  
И ближнему хуже бывает.  
Полоска на небе все уже,  
И жизнь, господя, «догорает».

А впрочем, какое вам дело  
До жизни какого-то Икса?  
И чувствует, ежась, тело  
Водицу тусклого Стикса.

– Чепуха! По-латыни: реникса!  
Смотри-ка: рыбка плывет.  
Водицу тусклого Стикса  
Душа переходит вброд.

Не вешай носа на квинту!  
Сорока нос украдет.  
Уронит, летя к Коринфу,  
Но рыбка нос подберет.

А мы, верхом на химерах —  
Во дворец, туда, в облака!  
Завращаемся в высших сферах,  
Точно два веселых волчка!



Забавное, милый, лекарство —  
 Наркотики? Станный вопрос.  
 Какое прекрасное царство  
 Так называемых грез!

В тех грезах ослепительны розы,  
 Амброзию подают  
 Рабы — и гремит maestoso  
 Грозы, как царский салют.

Волшебная фармакопея!  
 Мы летали, а час назад,  
 Гуляя по Кассиопее,  
 Мы бросились в водопад,

А потом в звездопад. Две кометы,  
 Точно девы, ласкались к нам,  
 Пели песни яркого цвета,  
 Мы влетали в сапфирный храм.

Но внезапно всё исчезало,  
 Уплывал Изумрудный Град.  
 Одевание из берилла  
 Превратилось в серый халат.



Спор сумасшедших с полоумными,  
Спор одержимых с бесноватыми;  
Не надо вмешиваться, милый.

Займемся летними полуднями,  
Займемся зимними закатами,  
Луной на улице застылой.

Пусть шизофреник параноику  
Изложит новую теорию  
О политическом прогрессе —

Пройдем по солнечному дворику,  
Пройдем к цветущему шиповнику,  
К цветистой бабочке ванессе.

Пусть вороны с меринсами  
К шакалам пристают с вопросами  
Об историческом процессе —

Гляди на нежные соцветия,  
На отдаленные созвездия,  
На знаки смерти и бессмертия,  
На облачное поднебесье.



Презревший заботы и почести,  
Здесь Будда молчит в одиночестве,  
Чужой, отрешенный, блаженный.

Мне Будда у белого лотоса  
Милее кровавого Хроноса,  
Хозяина смертной вселенной.

Предайся, душа, созерцанию  
Миров, озаренных нирваной,  
И время бессмертием станет.

Вне времени статуя древняя.  
(А бабочка спит, однодневная,  
Желтея на темном тюльпане.)

Я помню, мы в Мексике видели,  
Как ястреб, сидевший на идоле,  
Уснул, тяжелел, камня, —

И медленно стал изваянием,  
Скульптурой, гранитным молчанием  
(Цикады звенели сильнее)...  
А впрочем, не стоит — заранее?



Закусили в земной забегаловке,  
А теперь — в неземной ресторан!  
Постарели с тобой в Гореваловке,  
Полетим в голубой Раестан!

Знаю, было немало хорошего:  
Детский голос из ягодных мест,  
Предвесеннее льдистое крошево  
И осенний над озером блеск.

И весна. Соловьиное шелканье.  
Только жизнь — не одна благодать:  
И болели, и были оболганы,  
Довелось голодать-холодать.

Помечтаем, что в райской империи  
Пышный пир для заблудших овец  
И, прощая нам наше неверие,  
Пригласил нас Небесный Отец.

Пред очами Его милосердными  
Там навек — ни сумы, ни тюрьмы.  
И мы станем блаженно-бессмертными,  
И с блаженными встретимся мы.

Верно, ангелы вовсе не грозные.  
Что же все застилает туман?..  
— Ни нектара тебе, ни амброзии,  
И небесный закрыт ресторан.



Ты сощурила глаза нестрогие,  
 Медицинский бросила журнал.  
 Психологию физиологией  
 В нем ученый объяснял.

Мотылек поднялся над акацией,  
 Был твой рот, как роза без шипов.  
 Может быть, химической реакцией  
 Вызывается любовь.

Если б не было какой-то химии  
 (У дороги мята, резеда),  
 Я б не мог назвать тебя по имени,  
 Я б не встретил никогда.

Золотилось поле предвечернее,  
 Падал свет в зелено-темный лес.  
 А сиянье глаз твоих, наверное,  
 Лишь химический процесс?

Ты следила за большим закатом (а —  
 Деятельность аминокислот?),  
 И таинственным катализатором  
 Был твой нежный, влажный рот.

Роза без шипов так мягко тронула  
 Губы потеплевшие мои.  
 Ни к чему химическая формула  
 Человеческой любви.





Платье бархата черного,  
В белом кружеве шея.  
От багряно-пурпурного  
Шелка — пальцы блее.  
А лицо утомленное,  
Ни тепла, ни румянца.  
Это Мэри казненная,  
Королева шотландцев.

Протестантские рыцари  
Не хотели папистки.  
Мэри с римскими принцами  
Рассылала записки:  
— Не по праву Элизабет  
На английском престоле! —  
Мэри, кто тебя вызволит  
Из английской неволи?  
За интриги и преданность  
Католической вере,  
За упрямство и ветренность  
Обезглавили Мэри.

Помню Мэри портретную —  
Эту царственность позы.  
Вижу маску посмертную —  
И багровые розы.



Когда бы праотец Адам  
 На дереве Добра и Зла  
 (Познания, черт побери!)  
 Повесился — и свет зари  
 Скользил по листьям и цветам,  
 И даль была светла, светла...  
 То не возник бы род людской  
 С его борьбой, с его тоской...

А впрочем, мало дела мне  
 До человечества. Во сне  
 Я видел, что с тобой вдвоем  
 Нездешним садом мы идем,  
 Что я Адам, что я в раю  
 Стихи на иврите пою,  
 И ты, не зла и не добра,  
 Жена из моего ребра.  
 От музыки моей мечты  
 Там распускаются цветы,  
 И над павлином тонкий луч  
 Пахуч, алмазен и певуч.

Не зная о Добре и Зле,  
 Мы в райском нежились тепле,  
 И кольчатого князя тьмы  
 Ко всем чертям послали мы!



В ночном Нью-Йорке снег. Уснул, затих Нью-Йорк.  
Под мокрым снегом он промок, продрог.  
В нем воздух за день, кажется, прогорк.  
Дневная суета, бескрылый торг!

Но торг не кончен. Бродят у витрин  
Мальчишки — и подходит господин,  
И юноша, прекрасный, как павлин,  
Вдруг выступает из ночных глубин.

Два фонаря рассеивают мрак,  
А там, в аллее, черный кадиллак.  
В нем проститутку задушил маньяк.  
Он режет ей над сердцем странный знак.

Смутна луна, туманен ореол.  
Вот наркоман: он делает укол.  
Он в белом парке негра подколол:  
Ведь мертвый черный — меньшее из зол.

О небоскребы, темный вертоград!  
Никто не выбросился? Нет, навряд:  
Кому охота прыгать в снегопад?  
(Несчастный случай — частный случай, брат.)



Да — «тем не менее, однако, все-таки»:  
 Невзрачный луч в серомохнатом облаке,  
 И пальма колоссальным одуванчиком  
 Круглится над седым и серым странником.

В небурной речке отблески и проблески  
 (Не первый образец земной символики),  
 И пеликан рыбешку серебристую  
 Схватил (она мелькнула быстрой искрою).

А палевые лепестки шиповника  
 Опали все — от утреннего дождика? —  
 И крылышко оторванное бабочки  
 Синее в ручке синеглазой девочки.

В неяркой роще апельсинно-пальмовой  
 Неисцеленный греется расслабленный.  
 Здесь олеандры. Да, но нет сирени. И  
 Шмель не жужжит в непахнущем жасмине. И —

Да, «все-таки, однако, тем не менее»?  
 С балкона низвергаются глицинии,  
 И полуотвечает на сомнение  
 Полуулыбка мировой гармонии.



Двенадцать миллиардов лет  
Назад — вселенная возникла.  
Еще не умер Магомет,  
И даже не было Перикла.

Душа, приветствуй бытие!  
Люблю вселенную в апреле.  
Ведь если б не было ее,  
То где бы мы с тобой сидели?

От радости захохочу...  
Вселенная, мое почтение!  
И непременно я хочу  
Ее поздравить с Днем рожденья.

Я приглашаю, господа!  
Отпразднуем в роскошном зале.  
Шампанского! Но вот беда:  
Мне точной даты не сказали.



Не нарушает тишины  
 Закат китайско-желтоватый,  
 И ветки голубой сосны,  
 Бескрылые, полукрылаты.

На синем запечатлены  
 Две неподвижные ракиты,  
 И тень сапфирная волны  
 Лежит у лодки позабытой.

И слабым пламенем горят  
 Вершины снежные на юге.  
 (Здесь две дороги: на Царьград  
 и на Багдад). Как бы в испуге

Все ждет. Ни чаек, ни цикад.  
 Синеют горные отроги.  
 И слышно, как молчит закат,  
 Как бы задумавшись о Боге.



Морщины – трещины. От времени, от бремени.  
Грызут минуты, как термиты,  
Земную радость. Только в адском пламени  
Сгорят, забытые, заботы?

Или сгорит печаль в сиянье розовом  
Страны божественно-блаженной,  
Где во дворце лазурно-хризопразовом  
Хрустальный зал многоколонный?

Мы улетим в Элизий... Нет. Но жалким стариком,  
Назло житейскому Борею,  
«Печаль моя светла». «Мне грустно и легко», –  
Я улыбаясь повторяю.

Мы не войдем в сияние Элизия:  
Нас бог любви туда не пустит.  
Но утешает нежная поэзия –  
Дарохранительница грусти.

И лучше – проще: домик у опушки, на  
Юру. Скамья, береза, ясень.  
И медленно бредя за тенью Пушкина,  
Мы встретим болдинскую осень.



Кто может сосчитать морской песок? Весной  
 Я шел по берегу, устало:  
 Я точно сосчитал песчинки — до одной.  
 Но двух песчинок не хватало.

Песок... Моя судьба — песочные часы:  
 Переверни — и всё сначала.  
 Я все шучу. Из белой полосы  
 Песчинка в черную упала

Навек. Но не горюй: вновь солнечный восход  
 Над морем, волны заблестели,  
 И Афродита-Муза вновь плывет  
 На раковине Боттичелли.

Ну а душа — моллюск. Но створки отворят,  
 Совсем невзрачные снаружи,  
 И вдруг увидят мой несовершенный клад:  
 Некрупных несколько жемчужин.

Пусть раковиной бледной и пустой  
 Я на песке похолодею:  
 Но светлый Мусaget из раковины той  
 С улыбкой вырезал камею.





Огромная лазурь Айя-Софии!  
В зеленовато-золотой громаде,  
В том бирюзовом озере, в том чуде  
Клубились мощно светы неземные  
Апофеозом: полдень в Цареграде!  
Казалось, византийские святые  
Во храм вернулись, дивно-золотые,  
Высоким сонмом, воинством победным.

В лазурных сферах, в райском вертограде  
Великолепным празднеством бессмертным  
Мозаики и мраморы сияли.  
Архангелы великие звенели  
Над византийским городом имперским —

И круглые турецкие щиты  
С арабской вязью — золотом на черном —  
Трофеями военными висели  
В сиянии божественно-просторном,  
Не затмевая вечной красоты.



И великий и грозный собор в твердокаменной Авиле,  
 где паломники шли мимо терний Христова венца  
 (О огромный Распятый! И Царству не будет конца!)  
 ко святой и суровой Терезе, сказавшей о дьяволе  
 — что, не помню. Там сердце Христово мы славили  
 крестным ходом, среди готики, солнца и пыли — и,  
 как сказал проводник, в самом сердце Кастилии  
 мы оставили наши сердца.

Высокая дароносица,  
 высокий собор искусства!  
 Слиянье искусства и чувства.  
 В этой рифме сладостной русской  
 что-то есть, что к Богу относится.

Да, мы будем помнить  
 и экстазы Терезы над розами,  
 и к распятию страстный жест,  
 и витражи, которые созданы  
 из образчиков райских блаженств.



Играют пухлые щенки,  
Играют нежные котята.  
Птенец топорщится лохмато  
На линиях твоей руки.

И, черным глазом наблюдая  
Возню щенят, возню котят,  
Отодвигается назад,  
Не зная, что возня не злая.

Над бледно-розовым червем  
Сияют капли дождевые,  
И мы стоим, с тобой, вдвоем,  
Как будто видя все впервые.

И луч на маленьком амуре  
В бассейне старом отражен.  
На ветке спит хамелеон —  
Воздушный змей в миниатюре.

Я помню, я хотел спросить  
О смысле жизни, об идее  
Всего — но кажется важнее,  
Что птенчик очень хочет пить.



Стук-стук-стук, стучатся ветки.  
 Скучный ветер, поздний час.  
 Эти белые таблетки  
 Успокаивают нас.

Вот, растаяли в стакане.  
 А добавь еще штук семь —  
 И почти без досвиданий  
 Успокоишься совсем.

Если друг меня отравит,  
 То в раю или в аду,  
 Там, куда меня отправят,  
 Там, куда я попаду,

Что-то будет. А не будет —  
 Как-нибудь переживем.  
 Мертвый ножки не остудит —  
 Босиком плясать пойдем!

Здравствуй, сонушко-заснушко!  
 Ну, смелее, дуралей!  
 Выпьем, душенька-подружка?  
 Сердцу будет веселей?



Просите, просите защиты!  
Глухой, неприветливый мир!  
Вернулся ограбленный, битый  
Из бара сердитый банкир.

И видит: любовник в постели  
Предался беспечному сну.  
И руки его захотели  
Убить молодую жену.

Убил. Но ведь будет же сниться...  
И — липкая краска ножа...  
И бросился женоубийца  
С тринадцатого этажа.

Летел проклиная, сердито,  
Но ждало его торжество:  
Он прямо упал на бандита,  
Который ограбил его!

Заутра на шумном вокзале  
(Ведь ясен преступный мотив!)  
Любовника арестовали,  
В убийстве его обвинив.

А день был сухой и весенний,  
И Ангел Расплаты затих,  
Усталый от всех преступлений  
И всех наказаний земных.



Когда Адам брюхатил Еву,  
 Нас даже не было. Но Бог  
 Нас наказал, поддавшись гневу.  
 Адам, распутник, чтоб ты сдох!

И вот — с полвека, на работу!  
 На холоду и в темноте...  
 Как будто бы в штрафную роту  
 Свободы ради? Те-те-те!

Да, Богу будто бы угодно  
 (Что знают книжники о Нем?),  
 Чтоб мы пришли к Нему свободно  
 (Хоть и сгибаясь под ярмом).

Бог — всеблагод и всемогущий,  
 Всеведущий? Зачем Ему  
 Испытывать меня? (Я в гуще  
 Смолы кипящей все пойму?)

Мне говорят, что я агностик  
 (Я этим прозвищем не горд),  
 И мне показывает хвостик  
 Худой зелено-черный черт.

Ах, к черту черта! Я три года  
 Готовлюсь к райскому лучу.  
 Зачем, о Господи, свобода?  
 Блаженства светлого хочу!



Все загадки бытия  
Мы недавно разгадали.  
Дождь и солнце, ты и я.  
Над большим кустом азалий  
Светит каждая струя.

На асфальт кидай, роняй,  
Ливень, светлые медали!

Дождь прошел, и от перил  
Тень по мраморному полу.  
(Нет, не тень, а только полу-.)  
Парус набирает сил.  
Красной лапкой зацепил  
Желтый листик белый голубь.

Спит зеленая змея  
В синеватом ярком иле.  
В пышном парке ты и я.  
Много далий, много лилий.  
Замок в мавританском стиле.

Что ж загадки бытия?  
Мы о них совсем забыли.



Свет, сенокос, ветерок —  
 Помнишь? Июньский? Осенний?  
 Помнишь — веселый щенок  
 Лаял: собака на сене.  
 Весело в мире явлений.

Видишь? — Наводит сирень  
 Легкую тень на плетень.

Черный теленок, мыча,  
 Скачет в телячем восторге.  
 Свинка в сияньи луча  
 Ест апельсиновые корки.  
 Черные перья грача  
 Помнишь на светлом пригорке?

Светлый, задумчивый сад.  
 Жук переходит дорожку.  
 Помнишь — галчата галдят?  
 Две синехвостки глядят  
 Сверху на черную кошку.

Нет, не о зле и добре  
 На деревенском дворе!





Мечеть Омара в Ерусалиме —  
Как тучный хан в золотистом шлеме,  
В кафтане, вышитом бирюзой.

А церковь нежная Магдалины  
Свои девические воланы  
Возносит, радуя белизной.

И охраняет башня Давида  
Сон и торговлю пестрого люда  
(Город могучих, могучих стен!),

Но уведет от базарных будней  
Светлая церковь Молитвы Господней.  
(Стань, помолись, не вставай с колен!)

В церкви нарядной Гроба Господня  
(Там у мозаик всегда обедня)  
Плачет Мария. «Мать, не рыдай...»

Недалеко Вифлеем, где справа  
От лавок — храм Рождества Христова.  
Мудрых волхвов приводит звезда.



Я не вернусь в Египет, в Абу-Симбел,  
Где храмина Рамзеса, дивный символ  
Импери, которой больше нет.

Но в Англии, в шекспировском театре  
Я поклонюсь бессмертной Клеопатре:  
На сердце от нее легчайший след.

Я помню луч на синем скарабее  
В Каире, в примелькавшемся музее.  
(Да, пирамиды. Помню, да. Закат.)

Египет. Без жрецов, без фараонов.  
Песок холмов, песок пустынных склонов.  
(Верблюды, Сфинкс. Я помню двух ягнят.)

Я не вернусь в святилище Карнака  
И тайного магического знака  
Не разгляжу в сиянии луны.

Но я храню на сердце — посмотрите! —  
Тот милый облик нежной Нефертити,  
Бессмертной фараоновой жены.



Здесь есть дольмены. Но друидов нет,  
А я бы повидал друидов.  
Солнцепоклонник пел, встречая свет;  
Теперь не празднуют восходов.

Друидов нет. Есть миллионы жертв,  
Но нет ни жертвоприношений,  
Ни пения магических торжеств,  
Ни погребальных заклинаний.

Мы бардов слушали в таверне на реке.  
Какие скучные баллады!  
Сказали нам на гэльском языке,  
Что были магами друиды.

А в замках сумрачных, где гулок звук,  
Мы не встречали привидений.  
Им так наскучило пугать зевак,  
Любителей старинных зданий.

Готические лилии у луж —  
Аббатство, дождь, и путь к руинам,  
И солнце, озарившее витраж,  
Уже не видное друидам.



Пестрые домики, узкие улочки. .  
 Двигалась мерно процессия.  
 Трон кружевной раззолоченной куколки.  
 Пели монахини в честь Ее.

Как разрумянено мелкое личико!  
 Разве Она — Богородица?  
 Что ж, заступись и за нас, невеличка,  
 Нежная вестница Сына, Отца!

Знойная глушь голубой Португалии,  
 Серые ослики, пыльный дизель.  
 Как эти люди здесь умирали и —  
 Верили в вечную жизнь!

Верили в то, что замолит Пресветлая  
 Темные наши грехи,  
 Что воссияют у Бога Предвечного  
 Души, беспечно легки.

Голубь и луч в тишине баптистерия,  
 В мраморной чаше вода.  
 Так надоело мое маловерие,  
 Ангел Хранитель мой... Да?



Карнавальные Офелии,  
Все Корделии, Коппелии  
С нами знаться не хотели.  
Мы на них — плевать хотели,

В небо с ярмарки летели.  
В голубой Виолончелии,  
В нежно-розовой Свирелии  
Собирали асфодели,  
На Психеюшку глядели.

А на деле — пили, пели — и,  
Ох, устали от вращения  
Обветшалой карусели!  
(На зверей со скуки сели.  
Всё одно — до отвращения.)

Лет так семьдесят назад  
Мы лежали в колыбели,  
Ангелочками глядели.  
Хочется, браток, назад —  
С карусели — в колыбели!



А росли, брат — не в Свирелии!  
 Не в Свирелии. В Метелии.  
 В нашей грустной Оскуделии.  
 Чуть душа держалась в теле.  
 Выжили. И постарели.  
 С горя песенку свистели  
 О Психее в черном теле.

Русское словцо на е...  
 Не тает, брат, не тает.  
 Зря лечили от печали  
 Нас на скучном карнавале,  
 Где Психею затолкали  
 В суете и толчее.



Вместе дошли до седьмого круга –  
А теперь – какой разговор?  
Обуревает лучшего друга  
Старческий злобный задор.

Все он корит, жужжит, упрекая  
Меня в тягчайших грехах.  
Словно бы гарпия, фурия какая  
Подъемлет пепел и прах.

Чудится ему, что зелием черным  
Хочу его извести,  
Что сердце его склюю черным вороном  
В конце земного пути.

О'кей, бай-бай, прощай, улыбнемся,  
Злюка, скажи «изюм».  
Мы скоро уснем, уснем, не проснемся,  
Зачем этот скучный шум?



Святой блаженствует в экстазе и  
Златую осушает чашу,  
А нам за наши безобразия  
Покажут кузькину мамашу.

Пребольно выпорют бездельников,  
Пропишут ижицу — а дальше,  
Ой, надававши подзатыльников,  
Пошлют куда-нибудь подальше.

В аду, гостеприимной пристани,  
Нас черти приютят, наверно,  
Но скоро, присмотревшись пристальной,  
Пренебрегут высокомерно.

Что ж, посидим над мелкой речкою,  
Следя за ангелом крылатым.  
Мы не были ни Богу свечкою,  
Ни черту кочергой... Куда там!





Ложится свет на листья винограда,  
И уплывает горечь и досада.

В саду, где перец, фиги и корица,  
Клюет оливку розовая птица.

И пыльный мрамор (лысого Сократа?)  
В аллее жив от желтого заката.

А молодая милая туристка  
Бежит за белкой, нагибаясь низко.

Козел-сатир таится за колонной,  
От времени приятно загрязненной.

И, воскрешая древнюю Элладу,  
Туристка превращается в дриаду.

Неплохо бы под этим светлым небом  
Стать юношей. Нет, отроком, эфебом.

Не каменным, живым. Родные Музы  
Меня спасут от роковой Медузы?



Зеленый скарабей, и черный скорпион,  
И ястреб каменный, огромный — Аполлон!

Здесь путь небесных тел исчислил Птолемей  
И с ним беседовал зеленокрылый змей.

Средь иероглифов плыла твоя ладья  
В темно-зеленый мрак иного бытия.

Здесь правил бог-баран. Священный крокодил  
К священной черной кошке с нами плыл.

И большеглазые рабыни — в профиль к нам —  
Кормили ибисов, святых, у входа в храм.

А дружелюбный бог (но с головой шакала)  
Нас уверял, что смерть — лишь новое начало.

Мы лотос нюхали, и мазью благовонной  
Нас отрок натирал, в прекрасное влюбленный.

И в царстве смерти мы — богами становились,  
И выходили к нам Изида и Озирис.



Бежал щенок по краю океана  
За шестилетним мальчиком, виляя  
Счастливым хвостиком. Почти осанна  
Была в блаженстве тоненького лая.

Щенок был справа, океан был слева,  
И между ними мальчик шестилетний  
Бежал в закат вдоль пенного прилива,  
И делалось безлюдие заметней.

Вы знаете? И на другой планете,  
В галактике далекой и туманной  
Вот так же носятся щенки и дети  
У берегов другого океана.

Да, так же, так же — ничего не зная  
О дальних звездах, грозных и великих,  
И не пугает местность неземная  
Их — шестикрылых или — шестиликих.



Грех легкомыслия разве простится?  
 Хочется душеньке в рай попроситься.  
 (Небо, как терем, как райская птица:  
 Яркий закат, многокрасочный, длится.)

Много грехов у тебя? Вереница?  
 Взвыла душа, как на месяц волчица.  
 Брось, погляди: тишина золотится.  
 В терем войди, как царева девица.

Видишь: купаются в нежных закатах  
 Души детей, шалунов плутоватых.  
 Множество душ, голубых и крылатых,  
 Реют, прощенные, в Божьих палатах.

Терем в алмазах, сапфирах, агатах.  
 Только — туда не пускают богатых.  
 Мы не богатые. В общих палатах  
 Грелись, тоскуя — в казенных халатах.



Своенравница, затейница, забавница,  
 Своевольница, Судьба моя, Судьбинушка!  
 Заиграется, устанет, затуманится —  
 И куснет меня, драконушко, змеинушка.

А бывает — обернется добрым молодцем,  
 Подойдет ко мне — царица Шемаханская,  
 А потом вдруг — печенегом или половцем,  
 В шапке рысьей или куньей (милость ханская!).

Но слетает слету шапка та косматая,  
 Говорит Судьба: — Не плачь, сейчас помилую. —  
 Превращается, гляди, стрела пернатая  
 В драгоценную Жар-Птицу синекрылую.

Я молю ее: — Судьбинушка, голубушка,  
 Не ласкай меня так нежно, нежно-бережно,  
 Дай подольше посидеть у края бережка,  
 Злая Смертушка презлая, Душегубушка!



Как белые птицы, летали высокие ноты,  
И к нам опускались флейтисты с нездешнего неба.  
Над пыльной дорогой мерцали следы позолоты,  
Как тень Аполлона, как тень лучезарного Феба.

Хрустальная роща блистала над синим заливом,  
За старым пророком бежал розоватый ягненок,  
И белые кони вослед голубым переливам  
Несли золотистых, прекрасных, нагих амазонок.

И наполнилось небо конторщиками, продавцами,  
Они улетали на радостный остров Цитеру.  
Конторские книги махали большими листами,  
Сгорая, сияя, волшебно несясь в стратосферу.

И в нежных пейзажах Ватто или Клода Лоррена  
Вели хороводы сенаторы и прокуроры.  
И туча неслась, в темноте загудела сирена,  
А мы отдыхали на ложе богини Авроры.



Убитой было девяносто восемь,  
Убийце восемнадцать. Сколько жертве,  
Скажите, оставалось жить? Неделю?  
Ну а ему? Лет шестьдесят, пожалуй.

Он изнасиловал ее. Старуха  
Уж технику любви полузабыла.  
Она сама, наверно, удивлялась  
Смешному вкусу мальчика смешного.

Мне жаль его. Ее — почти не жалко.  
Шел дождь, когда его казнили. Было  
Еще темно. Да, то-то и оно-то.  
Такие-то дела. И что тут скажешь.



В одну телегу (Пушкин!) «впрячь не можно»  
 Весь мир (увы!) голодных и рабов.  
 Телега жизни... Ей не быть порожней:  
 На ней поклажа из людских горбов.

Веками снился нищим и калекам  
 Кровавый сон о правде и борьбе.  
 Но... человек играет человеком,  
 Пока судьба играет на трубе.

Крик о свободе, то слабей, то гневней,  
 О равенстве и братстве на века.  
 Но... проезжают райские деревни,  
 Как в глупой песне, мимо мужика.





За счастье платил я немалый бакшиш,  
А рок, усмехаясь, показывал шиш.

Ну что же! В кармане порой ни шиша,  
Блоха на аркане, почти ни гроша,  
А все же я верил, что жизнь хороша.

Хватало на хлеб, на коробку сардин,  
И можно украсть и понюхать жасмин,  
И, главное, сам я себе господин.

Бывало, на юге я крал виноград.  
Жевал — и глядел на огромный закат.

Показывал кукиш людскому суду.  
Воришка! Еще изловчусь — украду  
Бумажку на жительство в райском саду.

Серебряных ложек — не крал никогда.  
Блестела не ложка — блестела звезда.



Надо ли было сказать в крематории  
О биографии, темной истории?

В траурной рамке, «с глубоким прискорбием...»  
Глухо звучал неторжественный реквием.  
Что же, душа, — наслаждайся бессмертием.

Мы возвращались туманными рощами.  
Скучно паслись беловатые лошади,  
Влажно рыжели невзрачные озими.

Надо ли было сказать в эпитафии  
Правду о марихуане и мафии?

Жил он, замученный злыми пороками,  
Между аптеками и дискотеками,  
Между полицией, неграми, греками.

Как надоели убийцы, убитые,  
Разные мертвые, быстро забытые!



Мир наступит не скоро  
На Земле этой глупой.  
На полях Сальвадора  
Видят матери трупы.

На родном пепелище,  
У сожженного крова  
Ночью каждая ищет  
Своего дорогого.

Где библейские скалы,  
Где ливанские кедры,  
Пролилось там немало  
Крови теплой и щедрой.

Кровью темной и алой  
Матерей и младенцев  
Залита Гватемала:  
Разве жалко индейцев?

В ночь блаженную мая,  
В ночь осенне-сырую  
Помолчим, вспоминая  
Мировую Вторую.



Ночью в приморском саду  
 Пальмы, темнея, шумят.  
 Нет, не пророчат беду,  
 Нет, не пророчат утрат.

Жалко, что я не найду  
 Бледных, далеких Плеяд.  
 Только большую звезду  
 В мареве облачных гряд.

Двое подходят к пруду.  
 Странно: Христос и Пилат.  
 Двое бродят на ходу  
 Спорят: Платон и Сократ.

Помню, бывало в бреду:  
 В чаше — вино или яд?  
 Кажется, в прошлом году  
 Видел я небо — и ад.

Чаша с цикутой. — Гряду!  
 Стражники, темные, спят.  
 Ночь в Гефсиманском саду.  
 Мускулы римских солдат.



Семь густых, высоких струй фонтана:  
Семь полупрозрачных привидений?  
Лучше — души ланей и оленей,  
Обитателей Альдебарана?

Кипарисы белые в метели?  
Или семь оживших сталагмитов?  
Или ризы светлые надели  
Семеро танцующих джигитов?

Нет. Протуберанцы на Сатурне?  
Нет их. Или ангелы и арфы?  
Ангелы, я думаю, лазурней.  
Но не пляска фурий или гарпий?

Нет, сравните с тем, кто добродушней.  
Скажем: души нежные дельфинов  
Пляшут под напев арабских джиннов  
(Чем загробней, милый, тем воздушней).

Глупости. Но пусть другой напишет,  
Что мечтам и струям есть граница,  
Что, взлетев, приходится спуститься,  
Что нельзя, нельзя подняться выше.

Блеск и трепет. Может, символ рая?  
Не струится, кажется, нирвана?  
Забавляйся, Муза, созерцая  
Светлое движение фонтана.



ЧИТАЯ «ПУТИ-ДОРОГИ»

Пути, дороги. В Падуе Антоний,  
В Толедо Греко, херес и паэлла.  
И пестрой толчеей воспоминаний  
Разбуженная память зазвенела.

Венеция. Фантастика собора.  
Пел хриплый гондольер «О соли мио».  
Мы пробовали петь «Санта Лючия»  
И ели спрута алла маринара.

Над Альказаром посветлела туча.  
Я помню башни в предзакатном свете,  
И холодок узорчатой мечети,  
И в кабачке холодный суп гаспачо.

И в сутолке Латинского квартала  
Сорбоннского студентика-индуса  
Веселая датчанка обучала  
Искусству не пьянеть от кальвадоса.

А в Риге запах русского трактира,  
На чайнике пунцовые пионы  
И пирожок с капустой, отраженный  
В сиянии большого самовара.

И как в кино, мгновенной сменой кадров  
Покажет память многое другое:  
И блеск берез, и тени старых кедров,  
И римский день в полупрозрачном зное.



Мимо мумий! Мимо мумий! Мимо мумий!  
 (Трупов!.. Размалеванных матрешек!)  
 Мы прошли, мрачнее от раздумий,  
 В легкий мир фарфоровых пастушек.

И в гирлянды нежные вплеталась,  
 В тонких пальцах розовела роза.  
 Беленькой овечкой забавлялась  
 Милая распутная маркиза.

Над японской нежной панорамой  
 Соловей нефритовый защелкал.  
 Между лотосом и хризантемой  
 Был закат из розового шелка.

И ценя изящные искусства,  
 Мы прошли в нарядный зал распятий.  
 Там рубины осыпали густо  
 Тернии — и раны у запястий...

...Как могли ту кровь, тот пот, те муки  
 В золото оправить ювелиры?  
 Как могли художники тот ужас  
 Превращать в картины и скульптуры?

Бог в музее... Все-таки печальней,  
 Что замученный Спаситель мира  
 Украшает розовые спальни,  
 Заменяет пухлого амура.



## ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЕЙДЛЕ

Вы говорили нам, что если Бога нет,  
 В двойном небытии Вы все же с Ним сольетесь.  
 Любовь к Нему. О да. И лучше Ваш ответ  
 На смерть, чем плакать, о душе заботясь.

С Ним — даже если нет Его. В небытии —  
 Двойном. Паскаль, и Киркегор, и Достоевский  
 Могли сказать так. Да. Но с мудростью змеи  
 Поверим, как они — нет, не по-детски, —

В бессмертии! Мне снилось: «хор светил»;  
 К своей звезде, голубоватой Веге,  
 Стремится светлый дух, который был  
 Владимиром Васильевичем Вейдле.

А может быть — туда, к родным местам,  
 Где желтая сыреет штукатурка,  
 Невидимый, идете по мостам  
 Былого пушкинского Петербурга.

Но вероятнее, что Вы перенеслись  
 В любимые свои пейзажи кватроченто,  
 Где тонкий, стройный, острый кипарис,  
 Холмы, ручей голубоватой лентой,

Оливы, пинии, дворцы. Далекий вид,  
 Голубизна — и Бог на небосводе,  
 И белый ангел над леском летит,  
 И белый Голубь реет и нисходит.





## ПАМЯТИ ЮРИЯ ТЕРАПИАНО

По утрам читаю Гомера,  
И взлетает мяч Навзикаа.

*Ю.Т.*

В кафе «У Денизы» нас было трое:  
Ирина Одоевцева, Вы, я.  
И вы читали стихи о Трое  
И что не будет небытия.

Я плохо помню строфу о Гомере.  
Был вечер, Париж, бульвар Распай.  
И я завидовал Вашей вере,  
Что души бессмертны, есть Бог и рай.

Уже полгода, как нет Вас на свете.  
Есть то кафе, каштан, Монпарнас.  
Афина в шлеме на древней монете,  
Мной привезенной, бессмертной Вас?

Я в Греции был. Я не видел Трои.  
Не мчался на битву Алкивиад.  
Не Одиссей валялся на зное  
У опрокинутых колоннад.

Но... мир Одиссеи, мир Илиады...  
Солнечный диск метал дискобол.  
Рыже-багряный лист винограда  
Трогал, играя, легкий Эол.

Над горным обрывом мелькнула серна,  
 В долине шли овцы и пастухи...  
 Это голос Ваш, глуховато, мерно  
 Скандирует греческие стихи?

...Над Люксембургским садом сияя,  
 Как над Акрополем, как тогда,  
 Круглится месяц. Нет – мяч Навзикаи!  
 А души – бессмертны. Бессмертны, да?



Я разломил китайское печенье  
С билетиком внутри; мудрец Конфуций  
В нем заповедал: избегай эмоций  
И презирай житейское волнение.

Мне китаянка подала чоп-суи  
И вонтон суп — китайские пельмени —  
И про билетик пискнула, что всуе  
Всегда и всюду избегать волнений.

И я задумался о смысле жизни  
И что такое время и пространство  
И долго шел осенней ночью поздней  
По улице уныло-протестантской.

И вдруг я оказался, легче ваты,  
В китайском умозрительном пейзаже.  
Под узловатой веткой угловато  
Серела цапля, тонкая, на страже.

И водопадом низвергалась ива,  
В зеленом камыше пестрела утка.  
На озере не колебалась лодка,  
В которой я задумался лениво.

Сокрыла цаплю синяя прохлада,  
Плод размышлений оказался горек.  
Мы навестили фанзу, где у входа  
Светился темно-розовый фонарик.

А выйдя из нее, опять предались  
Игре трансцендентальных медитаций,  
И показал логический анализ,  
Что сердце мира стало синей птицей.



Мы давно отдыхаем  
На чужих берегах.  
Здесь, над пальмовым раем,  
Мой развеется прах.

Нет, какое там горе?  
(Ельник, холмик, снега?)  
Увезут в крематорий,  
Да и вся недолга.

Ни тоски, ни обиды.  
Не вернемся домой.  
Падай с неба Флориды,  
Пепел серенький мой!

Нет, какие могилы?  
(Галка, осень, дожди...)  
На Ваганьковском, милый,  
Не позволят, не жди.

Что ж, ничуть не обидно:  
Ведь в могиле темно  
И березок не видно,  
И не все ли равно?



Я с тобой не поеду  
 В голубую Тоскану.  
 По остывшему следу  
 Возвращаться не стану.

Помню двух флорентинок —  
 И сестер их в Уффици.  
 Где кончается рынок,  
 Там хотел я родиться.

Как пестра Санта Кроче!  
 Как прохладна Капелла!  
 Микеланджело: тело,  
 Утомленное, Ночи.

Мощь и строй синьории,  
 Пестрота кампаниле.  
 Мы о чем говорили?  
 О тебе, о России.

Вход в прохладную казу,  
 Купол, свет, черепица.  
 Мне хотелось там сразу  
 Умереть и родиться.



Ты Микки Мауса не признавал. Ты говорил:  
— Таких существ на свете нету. —  
Мой семилетний друг, скептический зоил,  
Постранствуй по другому свету!

Твой простодушный ум, твой простодушный смех...  
Ты не подозревал, что в той, загробной жизни  
Ты встретишь существа еще страннее тех,  
Которые придумал Дизни.

Ты не подозревал, что сам Иеронимус Босх  
Не мог вообразить невероятных тварей,  
Какими населил не Вельзевул, а Бог  
Свой светлозвездный bestiарий,

Что даже на Земле есть мириад существ  
Необычайней, чем мышонок Микки.  
Но что Земля? Что ад? Теперь — ты житель мест,  
Где светят ангельские лики.







Существа из далеких галактик  
С нами выпьют на ты, я уверен,  
И по-русски споют нам про чубчик,  
Кучерявый, с прононсом просвирен,  
Как советовал Пушкин-арапчик.

Уроженцы кометы Галлея  
Обожают святая Россия.  
Им сказали в Святом Ленинграде,  
Что поют при церковном обряде  
Про китайца в саду, в огороде.

А в созвездии Пса, где не лаёт  
Каждый третий, проверено всеми:  
На Руси при царе Николае  
Проживали в Москве и Батуми  
Люди с пёсьими все головами.

И турист из Большого Шакала  
Знал: Москва при царе состояла  
Из одной деревянной матрешки.  
Потому-то она и сгорела.  
Но пришел царь Сталтан или Мушкин  
И построил две новых матрешки.



Был освещен торжественный фасад  
 Парижской оперы. И был высок, велик  
 Триумф крылатых Муз, божественный парад.  
 Я помнил те венки, простертые в закат,  
 И надпись «Poésie Lyrique».

Я жил в Париже целых восемь лет,  
 Уехал тридцать лет тому назад.  
 Там жили русские поэты. Больше нет  
 В живых почти ни одного. Конь Блед  
 Умчал их в тот, небесный вертоград?

В земле Франции они лежат.  
 Они писали русские стихи.  
 Они из-за кладбищенских оград  
 Кивают мне: — Хотелось бы, собрат,  
 В Россию... А? Да где ж: дела — плохи.

В земле русской? У березок, в ряд?  
 Нет, вряд ли. И мечтать напрасный труд,  
 Что наши трупы въедут в Петроград  
 (Что бронзовые Музы осенят  
 Храм Эмигрантской Лирики?). Капут.  
 А вот стихи — дойдут. Стихи — дойдут.



# КОММЕНТАРИИ К СТИХАМ

Многие стихотворения И.В.Чиннова впервые были опубликованы в периодической печати. В комментариях указываются первые публикации, а также публикации, в которых текст отличается от первоначальной редакции.

## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- В – Журнал «Возрождение» (Париж).  
ВП – Альманах «Воздушные пути» (Нью-Йорк).  
Вс – Альманах «Встречи» (Филадельфия).  
Гр – Журнал «Грани» (Франкфурт-на-Майне).  
ЗС – Газета «За свободу» (Мюнхен).  
К – «Композиция», пятая книга стихов Игоря Чиннова.  
Конт – Журнал «Континент» (Мюнхен).  
ЛС – Альманах «Литературный Современник» (Мюнхен).  
М – Журнал «Мосты» (Мюнхен).  
Н – Журнал «Новоселье» (Париж – Нью-Йорк).  
НГ – «Новая газета» (Нью-Йорк).  
НЖ – «Новый журнал» (Нью-Йорк).  
НРС – Газета «Новое русское слово» (Нью-Йорк).  
П – Альманах «Перекрестки» (Филадельфия).  
РА – «Русский альманах» (Париж).  
РМ – Газета «Русская мысль» (Париж).  
С – Журнал «Современник» (Торонто, Канада).  
Ст – Журнал «Стрелец» (Нью-Йорк).

## Монолог

Первая книга стихов Игоря Чиннова — «Монолог» была напечатана в издательстве «Рифма» в Париже в 1950 году. В книгу вошли стихи, написанные и в Париже, и в Риге в 1930–1940-е годы. Среди самых первых, рижских, стихов И.В.Чиннов называл, например, «Медленно меркнет мой путь...», «Так помотришь небрежно...», «Этот мир, тускловатый и тленный...», «Снова тот же ветер веет...», «Опять подымается ветер...». Александр Бахрах в статье о поэзии И.Чиннова «Спирали и параболы» (НРС. 1978. 25 июня) писал, что у него хранится «Монолог», подаренный ему Чинновым, с надписью автора: «Дорогому имяреку то, что когда-то он перестукал на машинке, глубоко благодарный за все — И.Ч.». «Память изменчива, — продолжает Бахрах, — и я действительно запомнил, что во время оно перестукал Чиннову, начинавшему свое поэтическое восхождение, рукопись, уже подготовленную им для сдачи в типографию. Перестукал, вероятно, не только из дружеских чувств к поэту, которому нелегко жилось тогда в послевоенном Париже, но, в первую очередь, из-за той симпатии, которую внушали мне его стихи».

Позже почти все стихотворения «Монолога» (кроме «Быть может, в мире все иначе...» и «Влюбленные целуются опять...») автор включил, перемежая их новыми, в пятую свою книгу — «Композиция», вышедшую в 1972 году тоже в издательстве «Рифма». Некоторые из стихов «Монолога» были опубликованы в новой редакции. Все эти изменения отражены в комментариях к «Монологу», так как книга «Композиция» воспроизводится в настоящем издании без стихов «Монолога».

*Так помотришь небрежно* (с. 57). — Н. 1948. № 37–38.

*Шагаешь по мокнущей груди* (с. 62). — Н. 1950. № 42–44.

Включено в К в следующей редакции:

По листьям, по мокнущей груди,  
В дождливой ночной тишине

Шагая... А помнишь — и люди  
 Лежали вот так на войне.

А помнишь? — Не стоит, не надо:  
 К чему? Никому не помочь.  
 И память — как шум листопада  
 В глухую осеннюю ночь.

*Вот, живешь: суета, нищета* (с. 63). — Включено в К, где к стихотворению в конце добавлена строчка: «Ни людей. Ни чертей. Ни черта». Кроме того, введен эпитаф (в переводе Игоря Чиннова):

Из маленькой матки — к мелкой могилке.  
 И значит, во имя Большого Кита,  
 Будь жив и здоров! Аминь.

*Лоренс Дюррелл*

*Ночью мост рабочие чинили* (с. 64). — Включено в К с некоторыми изменениями и добавлениями в конце стихотворения:

Например: тюремный (черный, зычный,  
 Ваше охраняющий добро),  
 Быстренький, назойливый — больничный,  
 Или — тот, умеренно трагичный,  
 Скучный — похоронного бюро.

«Все прекрасно». — Первый сорт. Отлично.  
 В общем — Абсолютное Добро?

*Кабак, завод, тюрьма, больница* (с. 65). — Включено в К, где часть последней строки изменена и в конце добавлена строфа:

И так невозмутимо гонит  
 Хозяин на убой — коров,

Быков, телят — не все равно ли?  
 ...Скажи мне, что вокруг светло,  
 Что там, на солнечном престоле,  
 Не Зло, и всё — добро зело!

*А помнишь детство, синий сумрак, юг* (с. 68). — Включено в К с добавлением эпитафия:

И с Божьим небом прежнее родство!  
*Константин Случевский*

*Читая Пушкина* (с. 69). — Н. 1950. № 42–44. Перепечатано Г. 1950. № 44; НРС. 1974. 30 июня.

*В такой же день, весной, с тобой вдвоем* (с. 70). — Включено в К с добавлением эпитафия (перевод Игоря Чиннова):

Над темной вечностью, над бездной,  
 Твой лик, мной вызванный, встает.  
*Стефан Георге*

*Влюбленные целуются опять* (с. 71). — НЖ. 1950. № 23. Перепечатано НРС. 1974. 21 апр. В этой публикации к стихотворению добавлены следующие строфы:

И воздух предзакатно-золотой  
 Пронизан серебристой пылью,  
 И белый лебедь поднял над водой  
 Как будто ангельские крылья.

Бросает девочка, озарена,  
 В густую воду корки хлеба.  
 Прислушайся, какая тишина  
 От бледно-перистого неба.

*Наклонись над рекой, погляди* (с. 74). — Включено в К с изменением второй строфы:

Как Ока, как Ока, как Ока!

Есть другая, другая река,  
Уносящая солнечный день,  
И твою мимолетную тень,  
И тебя, и тебя заодно  
На глубокое, темное дно.

*В углу, над шкафом, от стены* (с. 76). — Включено в К с изменением первой строчки:

В углу, где муха, от стены.

*Ночами едет сквозь зыбкий сон* (с. 82). — Включено в К с добавлением эпиграфа (перевод Игоря Чиннова):

Сон, мистер Сон, пришел с сестрой, синьорой Заботой.

*Гийом Аполлинер*

*Он тоже один исходил* (с. 83). — Н. 1949. № 39–41.

*Бывает, поддашься болезни* (с. 84). — НЖ. 1950. № 23.

В журнальном варианте первая строка:

В конце февраля или в марте...

*Вот, опять вдали кряхтенье* (с. 85). — Перепечатано

Гр. 1959. № 44. Включено в К с некоторыми изменениями

в трех последних строках:

Вот кряхтит в ночном просторе.

Непонятна речь ее.

Что — выплакивает горе,

Горе личное свое?

Или заразилась тоже

Темной скорбью мировой?

Или не сказать не может,

Что приятно быть живой?

Или, словно белый лебедь  
 Плачет, покидая свет?  
 Или бредит (как не бредить?)  
 Тем, чего на свете нет?

*Какой глубокий, неземной покой* (с. 86). — Включено в К с изменением первой строчки:

Какой глубокий, пристальный покой.

*Этот мир, тускловатый и тленный* (с. 88). — Включено в К с добавлением двух последних строк:

(Да... А все же, читатель, не скрою:  
 Не мое он — и — не твое).

*Снова тот же ветер веет* (с. 89). — НЖ. 1950. № 23.  
*Порой замрет, сожмется сердце* (с. 90). — Н. 1948. № 37–38.  
 В журнальном варианте вторая строфа такая:

И мнится — смутный, тайный признак,  
 Какой то луч, какой-то звук —  
 Нездешней, нежитейской жизни  
 Почти улавливаешь вдруг.

Включено в К с добавлением эпитафия:

Откуда ты нисходишь, гость?  
 Не с тех ли пажитей, где снова,  
 У рек воды живой, бывшего  
 Цветет надломленная трость!

Вячеслав Иванов

## Линии

Вторая книга стихов Игоря Чиннова — «Линии» была напечатана в издательстве «Рифма» в Париже в 1960 году. У Чин-



нова было несколько вариантов названия этой книги: «Несо-  
гласия», «Варианты», «Кардиограммы», «Противоречия»,  
«Оттенки», «Надписи», «Оттиски». Все же он остановился  
на «Линиях», хотя был не совсем доволен названием. Позже  
автор включил эту книгу целиком в конец своего шестого  
сборника — «Пасторали», вышедшего в 1976 году в Париже.  
«Пасторали» воспроизводятся в настоящем издании без сти-  
хов из книги «Линии». Ниже указаны первые публикации  
стихов из «Линий».

*К луне стремится, обрываясь* (с. 97). — НЖ. 1957. № 49.

*Дали как будто во льду* (с. 98). — НЖ. 1953. № 32.

*Дымящие трубы* (с. 99). — НЖ. 1953. № 34.

*Что ж — думающие машины* (с. 100). — НЖ. 1960. № 59.

*Жил да был Иван Иванович* (с. 101). — НЖ. 1958. № 52.

*Вечный образ: счастье — ветер в поле* (с. 102). — Гр. 1959.  
№ 44.

*Он мерзнет в воротах парка* (с. 106). — НЖ. 1953. №32.

*Ты опять возмутился?* (с. 107). — НЖ. 1960. № 59.

*Ни работы, ни заботы* (с. 109). — НЖ. 1959. № 57.

*Палочка мерно взлетает* (с. 110). — НЖ. 1955. № 40.

*Голод в Индии, голод в Китае* (с. 111). — ЛС. 1954.

*О Воркуте, о Венгрии (— о чем?)* (с. 113). — Гр. 1959. № 44.

*Каждый сгниет (и гниеньем очистится)* (с. 115). — НЖ.  
1958. № 57. В журнале первая строка:

Что же — взорвется (и взрывом очистится)...

*Так отратительно-неотвратимо* (с. 116). — НЖ. 1960.  
№ 59.

*Станет вновь светло, станет вновь темно* (с. 118). —  
Гр. 1953. № 19.

*Полугрусть предосеннего шелеста* (с. 119). — НЖ. 1959.  
№ 57.

*Что-то вроде России* (с. 120). — НЖ. 1955. № 40.

*То, что было утешением* (с. 121). — ЛС. 1954.

*Помнишь о ветре* (с. 123). — НЖ. 1953. № 34.

*Легко на эту нежную руку* (с. 124). — Гр. 1955. № 24.  
*Я все еще помню Балтийское море* (с. 127). — НЖ. 1958.  
 № 54 (под названием «Голоса»). Перепечатано Гр. 1959.  
 № 44 (с тем же названием).  
*Сияли лампы, был прозрачный свет* (с. 128). — НЖ. 1951.  
 № 26. В журнальном варианте первая строчка:

Здесь были вещи: лампа, стол, камин...

*Может быть, только в этой* (с. 129). — ЗС. 1953. № 11.  
*Мы были в России — на юге, в июле* (с. 130). — М. 1959.  
 № 2.  
*Вновь перисто небо — да, белоснежность* (с. 131). — НЖ.  
 1960. № 59.  
*Угрюмая тень* (с. 133). — НЖ. 1955. № 43. Перепечатано  
 Гр. 1959. № 44.  
*Смутный сумрак спальни жаркой* (с. 134). — НЖ. 1953.  
 № 34.  
*И наше в ручье отражение* (с. 135). — М. 1959. № 2.  
*Острый угол подушки* (с. 137). — НЖ. 1951. № 26.  
*Тысячу лет тому назад* (с. 138). — НЖ. 1960. № 59.  
*Скажи, что случилось с миром?* (с. 139). — НЖ. 1953.  
 № 34.  
*В снежный вечер Млечный Путь походит* (с. 140). — НЖ.  
 1951. № 26. В этой публикации первая строчка:

Млечный Путь над городом проходит...

Перепечатано ЗС. 1953. № 11 в той же редакции, что и в  
 книге.  
*На каменном крыльце чужого дома* (с. 141). — Включено в  
 К с добавлением в конце двух строк:

Посадят ли за Божий стол? Дадут ли  
 Небесного вина из Божьей чаши?

*Пожалуй, и не надо одобрения* (с. 142). — ВП. 1960. № 1.

## Метафоры

Третья книга стихов Игоря Чиннова — «Метафоры» была напечатана в издательстве «Нового журнала» в Нью-Йорке в 1968 году. Автор хотел назвать эту книгу «Мелодия», но передумал. Ниже указаны первые публикации стихов.

*Здесь пахнет лазурью, ты знаешь? Здесь пахнет лазурью* (с. 145). — НЖ. 1963. № 72.

*Прямо на тротуаре* (с. 146). — НЖ. 1963. № 72.

*Холодеет душа, и близится сумрак* (с. 147). — НЖ. 1965. № 80.

*Слушая розовый сумрак смуглых ладоней* (с. 148). — НЖ. 1966. № 82.

*Давайте жить не по часам* (с. 149). — НЖ. 1963. № 72.

*Ясный осенний вечер* (с. 150). — М. 1966. № 12.

*Позабудь о грязи и о безобразии* (с. 151). — НЖ. 1964. № 75.

*Выдумываешь утешения* (с. 152). — НЖ. 1964. № 77.

*Беспмятость мира, наплыв забытья и забвенья* (с. 153). — НЖ. 1964. № 77.

*Тот белый — горный — пенистый ручей* (с. 154). — НЖ. 1963. № 72.

*Прости мне те лунные, снежные, синие горы* (с. 155). — Гр. 1964. № 55.

*Одним забавы, другим заботы. Затем забвенья* (с. 156). — НЖ. 1966. № 82.

*О душа, ты полнишься осенним огнем* (с. 157). — ВП. 1965. № 4.

*Я помню пшеницу, ронявшую зерна* (с. 158). — НЖ. 1963. № 72. В этой публикации первая строчка:

Я помню оливы (в Провансе? в Тоскане?)...

*Там, куда прилетят космонавты* (с. 159). — НЖ. 1965. № 79.

*Слетают желтоватые пушинки* (с. 161). — НЖ. 1965. № 79.

*А если все-таки война?* (с. 162). — М. 1966. № 12.

- Тени войны на замерзшей дороге. Уже* (с. 163). — НЖ. 1965. № 79.
- В газете пишут* (с. 164). — М. 1966. № 12.
- На обугленной стене* (с. 165). — ВП. 1965. № 4.
- Земное гноище* (с. 166). — М. 1966. № 12.
- Страшные где-то галактики* (с. 167). — НЖ. 1966. № 82.
- Видимо, напрасны обращения* (с. 168). — НЖ. 1964. № 75.
- Бывает, светится море* (с. 169). — НЖ. 1964. № 75.
- Я знаю — не все ненужно* (с. 170). — М. 1966. № 12.
- Казалось, глинистая дорога* (с. 172). — ВП. 1965. № 4.
- Лиловеют поганки* (с. 174). — М. 1966. № 12.
- Увядает над миром огромная роза сиянья* (с. 175). — НЖ. 1965. № 79.
- Снегом, солнцем и сном* (с. 176). — НЖ. 1966. № 82.
- Снопы фонтана* (с. 177). — Гр. 1964. № 55.
- И звуки вырвались из плена партитуры* (с. 178). — НЖ. 1964. № 77.
- Перепела, коростели* (с. 180). — НЖ. 1963. № 72.
- Мне нужно вернуться* (с. 181). — ВП. 1965. № 4.
- Облака облачаются* (с. 182). — НЖ. 1965. № 80.
- За музыку полуденного зноя* (с. 183). — Гр. 1964. № 55.
- Эта нежная линия счастья* (с. 185). — НЖ. 1965. № 80.
- Вдохновение* (с. 186). — НЖ. 1965. № 80.

## Партитура

ЧЕТВЕРТАЯ книга стихов Игоря Чиннова — «Партитура» была напечатана в 1970 году в издательстве «Нового журнала» в Нью-Йорке. В настоящем издании она воспроизведена полностью, за исключением стихотворения «Легкомысленно, чудесно...», так как позже с небольшими изменениями оно было включено автором в книгу «Антитеза». Ниже указаны первые публикации стихов.

- Голубая Офелия, Дама-камелья* (с. 190). — НЖ. 1969. № 95.

- Лошади впадают в Каспийское море* (с. 191). — НЖ. 1968. № 91.
- Да, утомило, надоело* (с. 192). — ВП. 1967. № 5.
- В долине плача, в удоли печали* (с. 193). — НЖ. 1968. № 91.
- Задуматься, забытья, замечтаться* (с. 194). — НЖ. 1967. № 87.
- И жизнь — будто мельничный жернов на шее* (с. 196). — НЖ. 1967. № 88.
- Казалось, становится небо* (с. 198). — НЖ. 1967. № 89.
- Разлетается сердце темными комьями крови* (с. 199). — НЖ. 1967. № 88.
- Так и живу* (с. 200). — НЖ. 1967. № 88.
- Мотаться нам да маяться* (с. 201). — НЖ. 1968. № 90.
- Наскучившая толчая* (с. 202). — НЖ. 1967. № 89.
- Горькие земные оскорбления* (с. 204). — ВП. 1967. № 5.
- Ну не бессмертие, хотя бы забытья* (с. 205). — НЖ. 1967. № 88.
- И ангелу случается отчаяться* (с. 206). — НЖ. 1968. № 91.
- Уже холодеет* (с. 207). — НЖ. 1967. № 86.
- Прозевал я, проворонил, промигал* (с. 208). — НЖ. 1967. № 89.
- Утоли мои печали* (с. 209). — НЖ. 1967. № 88.
- Кто запустил в это серое небо* (с. 211). — НЖ. 1966. № 84.
- Но горю не помочь — и полно говорить* (с. 212). — НЖ. 1966. № 84.
- Да, милые мелочи, вас тоже потоп унесет* (с. 213). — НЖ. 1966. № 84.
- Как будто золото в Рейне* (с. 214). — НЖ. 1969. № 96.
- Скоро сгорит печаль* (с. 215). — НЖ. 1970. № 98.
- О вечер, темный друг, мы так устали* (с. 216). — НЖ. 1967. № 86.
- Душа становится далеким русским полем* (с. 217). — НЖ. 1967. № 86.
- И луковица — жемчужина* (с. 218). — НЖ. 1968. № 92.
- Но выше нежного сияния* (с. 219). — НЖ. 1967. № 89.
- Да, недужится, неможется* (с. 220). — НЖ. 1967. № 89.
- Ну что — отмучился? «Залогом примирения»* (с. 221). — НЖ. 1968. № 90.

- Да, неудачи, и ночь, и так далее* (с. 223). — НЖ. 1968. № 90.  
*А я повидал бы жемчужно-блаженное царство* (с. 224). —  
 НЖ. 1968. № 92.  
*Мне даже думать об этом странно* (с. 225). — НЖ. 1968.  
 № 90.  
*Все темней тишина, это сон океаном синееет* (с. 226). —  
 НЖ. 1968. № 93.  
*Хрустальным кристаллом* (с. 227). — НЖ. 1969. № 95.  
*Не о войне — о том, что часто снится мне* (с. 228). — НЖ.  
 1968. № 93.  
*«Так вот, товарищи, — прошло полвека»* (с. 229). — НЖ.  
 1968. № 93.  
*Я был хозяин облаков и рая* (с. 232). — НЖ. 1969. № 96.  
*Он Иванов, Петров или Семенов* (с. 234). — НЖ. 1970. № 98.  
*Еще не дадут душе улететь* (с. 235). — НЖ. 1967. № 87.  
*О Планида-Судьба, поминдальничай* (с. 236). — НЖ. 1968.  
 № 92.  
*Было б неплохо поехать в Отрадное* (с. 237). — НЖ. 1967.  
 № 87.  
*Ну, а тебе — дела не опротивели?* (с. 238). — НЖ. 1967.  
 № 88.  
*Не муравьино, а соловьино* (с. 239). — НЖ. 1968. № 92.  
*Шепчу слова, бессвязно, безотчетно* (с. 241). — НЖ. 1966.  
 № 84.  
*Превращается имя и отчество* (с. 242). — НЖ. 1968. № 91.

## Композиция

Пятая книга стихов Игоря Чиннова — «Композиция» была напечатана в 1972 году в Париже в издательстве «Рифма». Автором она разделена на три части. Каждая часть имеет свое название. Авторское деление и названия в настоящем издании сохранены. Кроме новых стихов, поэт включил в «Композицию» почти все стихи «Монолог» (за исключением двух, указанных в комментариях к «Монологу»). Ниже указаны первые публикации стихов.

## ГАЛЛЮЦИНАЦИИ И АЛЛИТЕРАЦИИ

*Может быть, оба мы будем в аду* (с. 245). — НЖ. 1970. № 98.

*В стране Шларaffenланд* (с. 246). — НЖ. 1971. № 103.  
*«Ирония судьбы». Смертельное ранение иронией* (с. 247). — НЖ. 1970. №99.

*Пример предустановленной гармонии* (с. 248). — НЖ. 1972. № 106.

*Темные водоросли предвесенней ночи* (с. 249). — НЖ. 1972. № 107.

*Лунная ива в снегу* (с. 250). — НЖ. 1970. № 99.

*Мертвый пейзаж на Луне* (с. 251). — НЖ. 1971. № 103.

*И яблоко, по зрелом размышлении* (с. 252). — В. 1972. № 239.

*Далекий лед, далекий дымный день* (с. 254). — М. 1970. № 15.

*Обожжены, обнажены, обижены* (с. 255). — В. 1972. № 239.

*Там поют гиены и павлины* (с. 256). — М. 1970. № 15.

*Питекантропы в Пинакотеке* (с. 257). — НЖ. 1970. № 100.

В НЖ. 1988. № 172–173 была опубликована следующая редакция этого стихотворения:

Орангутанги в Оранжери.  
 Питекантропы по Пинакотеке.  
 Летят вертолеты, смотри:  
 Дух птеродактиля в человеке.

Зубами терзая гелиотроп  
 (Противогаз качает хобот),  
 Бежит в Акрополь питекантроп.  
 Здесь — обрывает розу робот.

Хрустальные гроздья Сансуси,  
 Алмазный крест обеих Сицилий  
 И царский венец Святой Руси —  
 Всё троглодиты проглотили.

Садитесь в кораблик астронавта!  
 Покойно, как при царе Горохе,  
 Синее ночь. Но завтра, завтра... —  
 В дымно-палящей суматохе  
 Пылающий динозавр — навстречу  
 Горящей пасти бронтозавра.  
 ...О радиоактивный вечер,  
 Ночь термоящерной эпохи.

*Ну и ну, ну и дела, как сажа бела* (с. 259). — НЖ. 1971. № 102.  
*На остров Цитеру. Выпьем в пути* (с. 261). — НЖ. 1970.  
 № 99.

*Дни мои, бедная горсточка риса* (с. 262). — РМ. 1973.  
 26 июля.

*А ты размениваешься на мелочь* (с. 263). — НЖ. 1967. № 86.  
*Живу, увы, в страдательном залоге* (с. 264). — В. 1972.  
 № 239.

*Загуляй ты, выпей полдиковинки* (с. 265). — НЖ. 1971. № 100.  
*Да, расчудесно, распрекрасно, распрелестно* (с. 266). —  
 НЖ. 1971. № 102.

*Помню изгородь, помню жимолость* (с. 267). — НЖ. 1972.  
 №108.

*Бой быков* (с. 268). — НЖ. 1971. № 105.

*Акакий Акакиевич* (с. 270). — НЖ. 1970. №100.

### ЭЛЕГОИДИЛЛИИ

*Не кажется ли тебе* (с. 272). — НЖ. 1972. №108.

*Черная птица на черном и снежном суку* (с. 273). — НЖ.  
 1971. №105.

*Душехранилище хоронят* (с. 275). — НРС. 1972. 12 марта  
 с посвящением: «Памяти Георгия Адамовича».

*В ожидании окончания* (с. 276). — В. 1970. № 227.

*Лилась виолончель, как милость или чудо* (с. 277). — НЖ.  
 1970. № 98.

*Ни в коем случае, ни в коем случае* (с. 278). — НРС. 1972.  
 4 июня.



*Документально и фактически* (с. 279). — НЖ. 1971. № 102.  
*Зачем, скажи, ты терпишь холод грубый* (с. 280). — НЖ.  
 1966. № 84.

«Поэты — бессмертны...» *Светлело, неярко* (с. 281). —  
 НЖ. 1972. № 106.

*Мы говорили о свободе воли* (с. 282). — НЖ. 1972. № 108.

*Только ветер пролетит, пойдет широко* (с. 283). — НРС.  
 1972. 4 июня.

## ПОЛУОСАННА

*Светлые белые горы* (с. 284). — НЖ. 1971. № 104.

*Я помню телеги в полях предвечерних* (с. 285). — В. 1971.

№ 228. Перепечатано НРС. 1973. 7 окт. с посвящением:  
 «Алексису Ранниту». Перепечатано НРС. 1985. 27 янв. с  
 посвящением: «Памяти Алексиса Раннита».

*Туманный жемчуг, осенний день* (с. 286). — НЖ. 1970. № 99.

*Особенно когда осенне-одиоко* (с. 287). — РМ. 1972. 16 нояб.

*Был океан лазурно-фиолетов* (с. 288). — НЖ. 1972. № 108.

*И мириады звезд, и мириады лет* (с. 289). — М. 1970. № 15.

*А белая птица так низко летела* (с. 291). — НРС. 1972.

30 апр.

*Гиацинтом, левкоем* (с. 292). — НЖ. 1971. № 102.

*Играет ветер листьями газеты* (с. 294). — В. 1971. № 228.

*В такую ночь весна не окончательна* (с. 295). — РМ. 1972.

16 марта с посвящением: «Памяти Георгия Адамовича».

*Арабским удивительным дворцом* (с. 298). — НРС. 1972.

5 нояб.

*Давай походим по дивным музеям* (с. 299). — НРС. 1972.

17 сент.

*Как большая темная миндалина* (с. 300). — НЖ. 1972.

№ 107.

*Удивительно, как удлинен* (с. 301). — НЖ. 1972. № 107.

*В огромном, царственном, торжественном саду* (с. 302). —

НРС. 1973. 7 окт.

*Тем более, что так недолговечно-розово* (с. 303). — НЖ.

1971. № 102.

*Тополь полон волнения, и липа звучит, как лира* (с. 305). — НЖ. 1972. № 107.

*Нежный неясный дождь, как легкое забытье* (с. 306). — НЖ. 1971. № 104.

## Пасторали

Шестая книга стихов Игоря Чиннова — «Пасторали» вышла в 1976 году в Париже в издательстве «Рифма». Она состояла из новых стихов и из подверстанной в конце сборника второй книги поэта — «Линии», к тому времени в магазинах давно распроданной. Книга «Линии» в настоящем издании воспроизведена отдельно. Ниже указаны первые публикации стихов.

*Был южный сад. И птицы — самоцветы* (с. 310). — НЖ. 1974. № 116.

*Может быть, навек запечатлеется* (с. 311). — НЖ. 1975. № 119.

*Каждый листик надеется стать соловьем* (с. 313). — НЖ. 1973. № 112.

*Сердце сожмется — испуганный ежик* (с. 314). — НЖ. 1973. № 112.

*На окраине города, ночью, в Европе* (с. 315). — НРС. 1974. 28 окт.

*О да, по той простой причине* (с. 316). — НРС. 1976.

23 февр. В этой газетной публикации стихотворение дано с названием «После разлуки».

*Уже летают предсмертные птицы* (с. 317). — РМ. 1975. февр., № 3037.

*Я тебя «рисовал на песке»* (с. 318). — НЖ. 1973. № 113.

*Кто душа твоя? Изольда? Дульцинея?* (с. 319). — НЖ. 1973. № 113.

*Эгейский ветер, шорох слабый* (с. 320). — НЖ. 1973. № 112.

*Пушок на щеке. Почти абрикосик* (с. 321). — С. 1975. № 28–29.

- Оранжево-розовые фламинго* (с. 322). — НЖ. 1974. № 116.  
*Все глупостями занимаемся* (с. 323). — НРС. 1974. 29 дек.  
 В этой газетной публикации стихотворение дано с названием «Рифмюиды».
- В яркой и знойной Флориде* (с. 324). — НЖ. 1974. № 116.  
*Disney World* (с. 325). — НЖ. 1974. № 116.
- Индуски, китайянки и японки* (с. 326). — НРС. 1975. 6 июня.  
*Мы гуляли по Бродвею. Сколько огней!* (с. 327). — НРС. 1975. 6 июня.
- И мы прошли парижской толчеей* (с. 328). — НРС. 1974. 29 дек.
- Что может быть в жизни плачевней* (с. 330). — НРС. 1974. 24 февр.
- Как хорошо, что люди мы* (с. 332). — С. 1975. № 28–29. А также НРС. 1976. 18 янв.
- Сколько песка в мексиканском пейзаже!* (с. 333). — НРС. 1976. 18 янв.
- Ну что же — не хочешь, не надо* (с. 334). — НЖ. 1975. № 120.  
*Между арок, пиний и кошек* (с. 335). — НРС. 1973. 16 дек.  
 В подборке «В Риме и мире» с посвящением: «Владимиру Вейдле».
- Приезжай в Афины рано* (с. 336). — НРС. 1976. 11 апр.  
 С подзаголовком: «Из книги “Пасторали”».
- Огромно-серым одуванчиком* (с. 337). — РМ. 1975. 29 мая.  
*В платье розовом метиска* (с. 338). — НРС. 1976. 18 янв.  
*Как много синьки в небо вылилось!* (с. 339). — НРС. 1975. 19 окт.
- Почему-то вдруг приснится* (с. 340). — НРС. 1975. 10 авг.  
*И по Дворцу венецианских дождей* (с. 341). — НЖ. 1975. № 120.
- Там, где белела бурная пена* (с. 342). — В. 1974. № 243.  
*Снова дни, голубые дельфины* (с. 343). — В. 1974. № 243.  
*Я задумался, вспоминая* (с. 344). — НРС. 1975. 6 июня.  
*Восхитись узорчатой Альгамброй!* (с. 345). — НРС. 1976. 23 февр.
- Земными полурайскими садами* (с. 346). — НРС. 1976. 23 февр.

- Пускай на душе предрассветно, смутно* (с. 347). — НРС. 1974. 24 февр.
- Кто повидал сокровища земные* (с. 348). — НРС. 1976. 11 апр. С подзаголовком: «Из книги «Пасторали».
- О Судьба, немая криптограмма* (с. 349). — НЖ. 1975. № 118.
- Ночная бабочка, мохнатая, как филин* (с. 350). — НЖ. 1975. № 119.
- Слетевшего с небес мерцающего гения* (с. 351). — РМ. 1975. февр. № 3037.
- Хрустальное сердце, прозрачней, чем лед* (с. 352). — НЖ. 1974. № 114.
- Был замок чудесный в чудесном балете* (с. 353). — НЖ. 1975. № 119.
- Захотелось порезвиться* (с. 354). — НРС. 1974. 29 дек.
- Попрыгай, душа-попрыгунья* (с. 355). — НРС. 1976. 18 янв.
- Небожитель, селенит* (с. 356). — НЖ. 1974. № 115.
- Оранжевато-розовато-серый край* (с. 358). — НРС. 1975. 19 окт.
- Ты был жив недавно. Тяжело болел* (с. 359). — С. 1975. № 28–29. А также РМ. 1976. 11 марта.
- Не душа, а легкий пар* (с. 360). — НЖ. 1973. № 113.
- Милый друг, спасибо за молчание* (с. 361). — РМ. 1975. 26 июня.
- Если бы мне глоток того эликсира* (с. 362). — НРС. 1974. 29 дек.
- К вечеру стало нежнее, весеннее* (с. 363). — НЖ. 1974. № 114.
- Улыбнись, царевна Несмеяна* (с. 364). — НЖ. 1974. № 114.
- А умрем — заживем на поверхности солнца* (с. 365). — НРС. 1975. 10 авг.
- Гулкий простор португальского храма* (с. 367). — НРС. 1974. 28 окт.
- Что искусство? — порой говоришь* (с. 368). — РМ. 1975. 1 мая.

## Антитеза

Седьмая книга стихов Игоря Чиннова — «Антитеза» («Как антитеза “Пасторалиям”», — пояснял автор) вышла в

1979 году в американском издательстве «Birchbark Press» с предисловием на английском языке Джона Глэда и Виктора Терраса. Книга была иллюстрирована рисунками западных художников. Ниже указаны первые публикации стихов.

*Душа, от шашней разной шушеры и нечисти* (с. 371). — НЖ. 1977. № 126.

*Вы не спорили, русские мальчики* (с. 372). — РМ. 1974. 7 марта.

*В Россию — ветром — строчки занесет* (с. 373). — С. 1973. № 25. В этой публикации первая строка стихотворения:

В Россию, чудом, строчки занесет.

*Человечество? Нет, не хочется* (с. 374). — НЖ. 1975. № 121.

*Говорила Судьба по-жабьему* (с. 375). — НЖ. 1977. № 127.

*Направо кумиры, налево табу* (с. 376). — НЖ. 1977. № 128.

*Как рыбка ненасытная пиранья* (с. 377). — НЖ. 1977. № 129.

*Отрубленную голову Пегаса* (с. 379). — НЖ. 1977. № 129.

*Из шелухи, из чепухи* (с. 380). — НЖ. 1973. № 111. А также НГ. 1980. 9–14 авг. Там по ошибке у стихотворения отсутствовало последнее четверостишие.

*Живу, изящными уютами* (с. 381). — С. 1977. № 35–36.

А также НГ. 1980. 9–14 авг. С опечаткой: «Там тоже туча именинница». Правильно: «...даже туча».

*Сад султанов, летний вечер сонный* (с. 382). — С. 1973. № 25.

*Как до Колумба, в хижинах ютится* (с. 383). — Конт. 1978. № 16.

*Шел, укрывался — неделями* (с. 384). — НЖ. 1975. № 118.

*Колючая проволока сплетена* (с. 385). — РМ. 1976. 18 марта.

*Соседи суетливые твои* (с. 387). — НЖ. 1977. № 129.

*Остаток лунной пилюли* (с. 388). — С. 1977. № 35–36.

*Гомункулус по имени Попутчикус* (с. 389). — Конт. 1977. № 11.

С подзаголовком: «Гротески. Случай в Восточной Европе».

*Идеи? Идеалы? — Идолы!* (с. 391). — НЖ. 1980. № 139.

*Ржавые рельсы и ржавые рыжие сосны* (с. 392). — НЖ. 1976. № 122.

*Да ну вас, да ну вас, да ну вас* (с. 394). — НЖ. 1978. № 132.  
*Одна миллионная миллиметра* (с. 395). — НЖ. 1978.  
 № 131. А также Конт. 1978. № 16.  
*Ветер жизни стихает, слабеет, смолкает* (с. 397). — РМ.  
 1977. 21 апр.  
*Если будет война* (с. 398). — Конт. 1977. № 11.  
*Случайно случившийся случай. Смешки!* (с. 399). — М. 1970.  
 № 15. Кроме того, стихотворение было напечатано в книге  
 «Композиция», но там первые строки звучат так:

Случайно случившийся случай. В тиски  
 Тебя схватили за жабры...

Также там нет третьей строфы, а четвертая начинается со  
 строчки: «О, всё перемелется! Видишь — опять...»  
*Когда-нибудь, потом, потом, впоследствии* (с. 400). — НЖ.  
 1977. № 126.  
*Тебе достанется не более, а менее* (с. 401). — НРС. 1978. 7 мая.  
*Милой музыкой старинной* (с. 402). — РМ. 1976. 2 дек.  
*Мерзлой густой пеленой* (с. 403). — С. 1976. № 32.  
*Многие мечтают: побываю* (с. 404). — НРС. 1977. 18 дек.  
*Легкомысленно, прелестно* (с. 405). — РМ. 1978. 18 мая.  
 Кроме того, стихотворение было напечатано в книге «Пар-  
 титура», где оно начиналось так:

Легкомысленно, чудесно...

Первоначальный вариант короче опубликованного в «Ан-  
 титезе». В нем нет строк:

Вознесем, воссияем  
 Над вороньим грубым граем

и строк:

Воздадут тебе старицей  
 Там, где туча серебрится.

- Все хочу я подумать о смерти* (с. 406). — НРС. 1974. 29 дек.; П. 1977. № 1.
- О продолжительности жизни* (с. 407). — РМ. 1976. 26 февр.; П. 1977. № 1.
- Парижская старая пена* (с. 408). — С. 1977. № 35–36.
- Занимательная грамматика* (с. 409). — НЖ. 1978. № 132.
- Эта льдинка в хрустальном стакане* (с. 410). — РМ. 1977. 21 апр.
- В безвыходной тюрьме Необходимости* (с. 411). — РМ. 1977. 21 апр.
- Помнится, Цезарь сказал: — Finis Poloniae* (с. 412). — С. 1977. № 35–36.
- В серебряном небе звенели хрустальные птицы* (с. 413). — НЖ. 1973. № 112.
- Душа, душа, ты ванька-встанька* (с. 415). — НЖ. 1973. № 111.
- Где-то светлый Бог, где-то вечный свет* (с. 416). — С. 1977. № 35–36.
- Смерть отсекает нам душу от тела* (с. 417). — НЖ. 1977. № 126.
- В белой тундре слышен шелк* (с. 418). — НЖ. 1976. № 124.
- Как будто серной кислотой* (с. 419). — НРС. 1978. 7 мая.
- Мало-помалу, мало-помалу* (с. 422). — НЖ. 1976. № 122.
- Они, пожалуй, полудики* (с. 423). — НРС. 1977. 18 дек.; С. 1977. № 35–36.
- Даже в полночь — будничный мир* (с. 424). — С. 1977. № 35–36.
- Ветер, сияя, качает* (с. 425). — НЖ. 1963. № 72. Это стихотворение было напечатано раньше в книге «Метафоры» без третьей строфы:

Пусть они станут,  
как беглая смутная стайка  
мелкой рыбешки  
в тускло-осенней утренней зыби  
северной речки.

- Ну а ночью — пандемониум* (с. 427). — П. 1977. № 1.  
*Сегодня я сразу узнал* (с. 429). — С. 1976. № 32.  
*Наплывает черный парус* (с. 430). — С. 1976. № 32.  
*Романтики твердили нам о сердце* (с. 432). — НЖ. 1977.  
 № 128.  
*Не говоря о том, что из потемок* (с. 433). — С. 1976. № 32.  
*В газете — новость: найден таракан* (с. 434). — РМ. 1978.  
 3 авг.  
*На прелестном острове Гаити* (с. 435). — НРС. 1977.  
 18 дек. А также НЖ. 1978. № 131.  
*Ах, ваша планета — новый Акрополь!* (с. 437). — Конт.  
 1977. № 11. Напечатано с названием «Разрядка напряжен-  
 ности посредством визита». Первая строка:

Этот мавзолей — наш новый Акрополь...

- За тридевять небес твоя хата с краю* (с. 438). — П. 1979.  
 № 3.  
*Да, мы эмигранты, «переселенцы»* (с. 439). — НЖ. 1974.  
 № 115.  
*И я свидетель обвинения* (с. 441). — НЖ. 1977. № 128.  
*Пестрел и бурлил мексиканский базар* (с. 442). — НРС.  
 1978. 7 мая.  
*Аквариум тихий и мрачный* (с. 443). — РМ. 1976. 15 апр.  
*Я недавно коробку сардинок открыл* (с. 444). — НЖ. 1976.  
 № 124. А также НГ. 1980. 9–14 авг.

## Автограф

Последняя из вышедших за пределами России книг Игоря Чиннова — «Автограф» была напечатана в 1984 году в американском издательстве «New England Publishing Co». Первые публикации стихов «Автографа» приведены ниже.

- Займите где-нибудь* (с. 447). — Конт. 1980. № 23.  
*Гекатомбы, катакомбы* (с. 448). — НЖ. 1982. № 148.



- Благоразумие — безумие* (с. 449). — НЖ. 1981. № 142.  
*Домоклов меч над прокрустовым ложем* (с. 450). — НЖ. 1980. № 141.  
*Уйти? Остаться? Сердце мается* (с. 452). — НЖ. 1981. № 145.  
*Пляшет, скачет темный Рок* (с. 454). — НЖ. 1978. № 133.  
*Болею манией величия* (с. 455). — НЖ. 1983. № 151.  
*Под шум Атлантического океана* (с. 456). — П. 1979. № 3.  
*То то, то другое, то то, то другое* (с. 457). — НЖ. 1978. № 133.  
*Кого-то кто-то пожирает* (с. 458). — НЖ. 1980. № 138.  
*Я говорил глухому перуанцу* (с. 459). — НЖ. 1983. № 151.  
*Какие вокруг образины* (с. 460). — НЖ. 1981. № 143.  
*Не феями и не камнями* (с. 461). — НЖ. 1982. № 146.  
*Нейтронная бомба не тронет меня* (с. 462). — НЖ. 1981. № 145. А также НРС. 1983. 6 нояб.  
*Хотя цвели, так нежно-пышно, вишни* (с. 463). — НЖ. 1980. № 140. А также НРС. 1983. 6 нояб.  
*Серели, желтели развалины* (с. 464). — НЖ. 1979. № 134. А также НРС. 1983. 6 ноября.  
*Мраморный фонтан многоузорный* (с. 465). — НЖ. 1980. № 140.  
*У фракийского берега* (с. 466). — НЖ. 1981. № 143.  
*Слышно, как Лермонтов песню заводит на Тереке* (с. 468). — Конт. 1984. № 40.  
*«Все будет прекрасно», — сказал Гавриил Азраилу* (с. 469). — Конт. 1982. № 34.  
*Окружена публичными домами* (с. 470). — Конт. 1982. № 34.  
*Памяти Якова Виньковецкого* (с. 471). — НЖ. 1983. № 150. А также НРС. 1984. 13 июня.  
*Новорожденные младенцы* (с. 472). — НЖ. 1982. № 147.  
*Лежит потемневшее сено* (с. 473). — НЖ. 1979. № 136.  
*Нет, не капризничай, не привередничай* (с. 474). — НЖ. 1983. № 153.  
*Куда-то плыть осенними туманами* (с. 475). — НЖ. 1981. № 144.

- Мы положим на чашу весов* (с. 476). — НЖ. 1981. № 142.
- Плачешь, Психея-Аленушка?* (с. 477). — НЖ. 1983. № 152.
- Palais de Justice* (с. 478). — Конт. 1982. № 34.
- Конечно, бывало и хуже* (с. 480). — НЖ. 1984. № 154.
- Забавное, милый, лекарство* (с. 481). — Вс. 1984.
- Спор сумасшедших с полоумными* (с. 482). — НЖ. 1979. № 136.
- Презревший заботы и почести* (с. 483). — Ст. 1984. № 6.
- Закусили в земной забегаловке* (с. 484). — Ст. 1984. № 6.
- Ты сощурила глаза нестрогие* (с. 485). — НРС. 1978. 28 дек. С подзаголовком: «К выступлению поэта в Рахманиновском зале 30 декабря».
- Платье бархата черного* (с. 486). — НЖ. 1984. № 154.
- Когда бы праотец Адам* (с. 487). — НЖ. 1982. № 146.
- В ночном Нью-Йорке снег. Уснул, затих Нью-Йорк* (с. 488). — НЖ. 1983. № 153.
- Да — «тем не менее, однако, все-таки»* (с. 489). — Конт. 1980. № 23.
- Двенадцать миллиардов лет* (с. 490). — НЖ. 1983. № 150.
- Не нарушает тишины* (с. 491). — НЖ. 1980. № 141.
- Морщины — трещины. От времени, от бремени* (с. 492). — РА. 1981. А также НРС. 1982. 31 янв.
- Огромная лазурь Айя-Софии* (с. 494). — НРС. 1975. 10 авг.
- И великий и грозный собор в твердокаменной Авиле* (с. 495). — НРС. 1974. 21 апр. А также НРС. 1978. 28 дек. С подзаголовком: «К выступлению поэта в Рахманиновском зале 30 декабря».
- Стук, стук, стук — стучатся ветки* (с. 497). — Конт. 1980. № 23.
- Просите, просите защиты!* (с. 498). — Конт. 1984. № 40. А также НЖ. 1984. № 155.
- Когда Адам брюхатил Еву* (с. 499). — Конт. 1984. № 40.
- Все загадки бытия* (с. 500). — РА. 1981. А также НРС. 1985. 27 янв. С подзаголовком: «Из книги "Автограф"».
- Мечеть Омара в Ерусалиме* (с. 502). — НРС. 1985. 29 дек.
- Я не вернусь в Египет, в Абу Симбел* (с. 503). — Конт. 1984. № 40.

- Здесь есть дольмены. Но друидов нет* (с. 504). — Конт. 1984. № 40.
- Карнавальные Офелии* (с. 506). — НРС. 1985. 29 дек.
- Ложится свет на листья винограда* (с. 510). — НЖ. 1984. № 155.
- Бежал щенок по краю океана* (с. 512). — НРС. 1984. 14 окт. С подзаголовком: «Из новой книги “Автограф”».
- Грех легкомыслия разве простится?* (с. 513). — НРС. 1984. 14 окт. С подзаголовком: «Из новой книги “Автограф”».
- Убитой было девяносто восемь* (с. 516). — НЖ. 1980. № 138.
- Мир наступит не скоро* (с. 520). — Конт. 1984. № 40.
- Семь густых, высоких струй фонтана* (с. 522). — НЖ. 1980. № 139.
- Читая «Пути-дороги»* (с. 523). — «Пути-дороги» — книга А.Седых, подаренная им И.Чиннову, в которой, среди прочих путевых записок, есть глава о довоенной Риге.
- Мимо музий! Мимо музий! Мимо музий!* (с. 524). — Конт. 1982. № 34.
- Памяти Владимира Вейдле* (с. 525). — НРС. 1979. 23 сент. под названием «На смерть Владимира Вейдле».
- А также РМ. 1985. 2 мая.
- Памяти Юрия Терапиано* (с. 526). — НРС. 1981. 8 февр. А также РМ. 1985. 2 мая.
- Я разломил китайское печенье* (с. 528). — НЖ. 1981. № 144.
- Мы давно отдыхаем* (с. 530). — Конт. 1984. № 40. А также Ст. 1984. № 6.
- Я с тобой не поеду* (с. 531). — Конт. 1984. № 40.
- Ты Микки Мауса не признавал* (с. 532). — НЖ. 1979. № 134.
- Существа из далеких галактик* (с. 534). — НЖ. 1983. № 152.
- Был освещен торжественный фасад* (с. 535). — НЖ. 1982. № 148. А также РМ. 1985. 2 мая.

# СОДЕРЖАНИЕ

*Ольга Кузнецова. ПОСЛЕДНИЙ ПАРИЖСКИЙ ПОЭТ* ..... 5

## Монолог

Неужели не стоило .....	55
К ночи мягче погода .....	56
Так посмотришь небрежно .....	57
Петух возвещает, чуть свет .....	58
В безветренных полях еще весна .....	59
Яснее с каждым годом: да, провал .....	60
В Булонский лес заходишь в декабре .....	61
Шагаешь по мокнувшей груди .....	62
Вот, живешь: суета, нищета .....	63
Ночью мост рабочие чинили .....	64
Кабак, завод, тюрьма, больница .....	65
Немного рыбы и немного соли .....	66
Мальчик бился над задачей .....	67
А помнишь детство, синий сумрак, юг .....	68
Читая Пушкина .....	69
В такой же день, весной, с тобой вдвоем .....	70
Влюбленные целуются опять .....	71
Опять подымается ветер .....	72
Скучная желтеет речка .....	73
Наклонись над рекой, погляди .....	74
В стакане стынет золотистый чай .....	75
В углу, над шкафом, от стены .....	76
Я слышал где-то анекдот .....	77
Быть может, в мире все иначе .....	78
Нам кажется, все ясно, очень просто .....	79

Трепещут судорожные зарницы .....	80
Солнечная зыбь на реке .....	81
Ночами едет сквозь зыбкий сон .....	82
Он тоже один исходил .....	83
Бывает, поддашься болезни .....	84
Вот, опять вдали кряхтенье .....	85
Какой глубокий, неземной покой .....	86
Стоим, молчим. Неясное мерцанье .....	87
Этот мир, тускловатый и тленный .....	88
Снова тот же ветер веет .....	89
Порой замрет, сожмется сердце .....	90
Медленно меркнет мой путь .....	91
Быть может... Неясные звезды .....	92
Какой неудержимый ливень .....	93
Озаренное небо, и птицы летят .....	94

## Линии

К луне стремится, обрываясь .....	97
Дали как будто во льду .....	98
Дымящие трубы .....	99
Что ж — думающие машины .....	100
Жил да был Иван Иванович .....	101
Вечный образ: счастье — ветер в поле .....	102
А может быть, все же — спасибо за это .....	103
«Если завтра война»... Накануне войны .....	104
О мировом безобразии .....	105
Он мерзнет в воротах парка .....	106
Ты опять возмущался? .....	107
Да, траурная колесница .....	108
Ни работы, ни заботы .....	109
Палочка мерно взлетает .....	110
Голод в Индии, голод в Китае .....	111
Терновник веткой суховатою .....	112
О Воркуте, о Венгрии (— о чем?) .....	113
Был веселый, живой соловей .....	114
Каждый сгниет (и гниением очистится) .....	115
Так отвратительно-неотвратимо .....	116
Ни добрых дел, ни твердой веры нет .....	117

Станет вновь светло, станет вновь темно .....	118
Полугрусть предосеннего шелеста .....	119
Что-то вроде России .....	120
То, что было утешением .....	121
Ивы, ясени, клены, осины .....	122
Помнишь о ветре .....	123
Легко на эту нежную руку .....	124
Колоколом утомительным .....	125
Знаешь, я почти забыл .....	126
Я все еще помню Балтийское море .....	127
Сияли лампы, был прозрачный свет .....	128
Может быть, только в этой .....	129
Мы были в России — на юге, в июле .....	130
Вновь перисто небо — да, белоснежность .....	131
Хмуρο и виновато .....	132
Угрюмая тень .....	133
Смутный сумрак спальни жаркой .....	134
И наше в ручье отражение .....	135
Знакомое зло, привычное зло .....	136
Острый угол подушки .....	137
Тысячу лет тому назад .....	138
Скажи, что случилось с миром? .....	139
В снежный вечер Млечный Путь походит .....	140
На каменном крыльце чужого дома .....	141
Пожалуй, и не надо одобрения .....	142

## Метафоры

Здесь пахнет лазурью, ты знаешь? Здесь пахнет лазурью ....	145
Прямо на тротуаре .....	146
Холодеет душа, и близится сумрак .....	147
Слушая розовый сумрак смуглых ладоней .....	148
Давайте жить не по часам .....	149
Ясный осенний вечер .....	150
Позабудь о грязи и о безобразии .....	151
Выдумываешь утешения .....	152
Беспмятство мира, наплыв забытья и забвенья .....	153
Тот белый — горный — пенистый ручей .....	154
Прости мне те лунные, снежные, синие горы .....	155

Одним забавы, другим заботы. Затем забвеньё .....	156
О душа, ты полнишься осенним огнем .....	157
Я помню пшеницу, ронявшую зерна .....	158
Там, куда прилетят космонавты .....	159
Ты уже забываешь .....	160
Слетают желтоватые пушинки .....	161
А если все-таки — война? .....	162
Тени войны на замерзшей дороге .....	163
В газете пишут .....	164
На обугленной стене .....	165
Земное гноище .....	166
Страшные где-то галактики .....	167
Видимо, напрасны обращения .....	168
Бывает, светится море .....	169
Я знаю — не все ненужно .....	170
Я тоже не верю в бессмертие .....	171
Казалось, глинистая дорога .....	172
Сады, цикады, цыгане .....	173
Лиловеют поганки .....	174
Увядает над миром огромная роза сиянья .....	175
Снегом, солнцем и сном .....	176
Снопы фонтана .....	177
И звуки вырвались из плена партитуры .....	178
Уже сливалась с ветром дальних Альп .....	179
Перепела, коростели .....	180
Мне нужно вернуться .....	181
Облака облачаются .....	182
За музыку полуденного зноя .....	183
Так проплывают золотые рыбки .....	184
Эта нежная линия счастья .....	185
Вдохновение .....	186

## Партитура

### I

Как это солнцу спокойно сияется .....	189
Голубая Офелия, Дама-камелия .....	190
Лошади впадают в Каспийское море .....	191
Да, утомило, надоело .....	192

В долине плача, в юдоли печали .....	193
Задуматься, забыться, замечтаться .....	194
Жизнь улыбалась, будто Царь-Девица .....	195
И жизнь — будто мельничный жернов на шее .....	196
Я проживаю в мире инфузорий .....	197
Казалось, становится небо .....	198
Разлетается сердце темными комьями крови .....	199
Так и живу .....	200
Мотаться нам да маяться .....	201
Наскучившая толчая .....	202
Согласен, давай поиграем .....	203
Горькие земные оскорбления .....	204
Ну не бессмертие, хотя бы забытье .....	205
И ангелу случается отчаяться .....	206

## II

Уже холодеет .....	207
Прозевал я, проворонил, промигал .....	208
Утоли мои печали .....	209
Как будто звёзды в хрустале .....	210
Кто запустил в это серое небо .....	211
Но горю не помочь — и полно говорить .....	212
Да, милые мелочи, вас тоже потоп унесет .....	213
Как будто золото в Рейне .....	214
Скоро сгорит печаль .....	215
О вечер, темный друг, мы так устали .....	216
Душа становится далеким русским полем .....	217
И луковица — жемчужина .....	218

## III

Но выше нежного сияния .....	219
Да, недужится, неможется .....	220
Ну что — отмучился? «Залогом примиренья» .....	221
И жало смерти, и победа ада .....	222
Да, неудачи, и ночь, и так далее .....	223
А я повидал бы жемчужно-блаженное царство .....	224

## IV

Мне даже думать об этом странно .....	225
---------------------------------------	-----



Все темней тишина, это сон океаном синеет .....	226
Хрустальным кристаллом .....	227

## V

Не о войне — о том, что часто снится мне .....	228
«Так вот, товарищи, — прошло полвека» .....	229
Терзали, кусали козьявки .....	230

## VI

Мы птицы, мы ветры, кометы, ангелы .....	231
Я был хозяин облаков и рая .....	232
В металлический мир кибернетики .....	233
Он Иванов, Петров или Семенов .....	234

## VII

Еще не дают душе улететь .....	235
О Планида-Судьба, поминдальничай .....	236
Было б неплохо поехать в Отрадное .....	237
Ну, а тебе — дела не опротивели? .....	238
Не муравьино, а соловьино .....	239
Что же всё бороться и бороться... ..	240
Шепчу слова, бессвязно, безотчетно .....	241
Превращается имя и отчество .....	242

# Композиция

## ГАЛЛЮЦИНАЦИИ И АЛЛИТЕРАЦИИ

Может быть, оба мы будем в аду .....	245
В стране Шлараффенланд .....	246
«Ирония судьбы». Смертельное ранение иронией .....	247
Пример предустановленной гармонии .....	248
Темные водоросли предвесенней ночи .....	249
Лунная ива в снегу .....	250
Мертвый пейзаж на Луне .....	251
И яблоко, по зрелом размышлении .....	252
И срублен ты, как маков цвет, под корень .....	253
Далекий лед, далекий дымный день .....	254
Обожжены, обнажены, обижены .....	255

Там поют гиены и павлины .....	256
Питекантропы в Пинакотеке .....	257
Таракан Тараканий Великий .....	258
Ну и ну, ну и дела, как сажа бела .....	259
Мертвый вялый туман .....	260
На остров Цитеру. Выпьем в пути .....	261
Дни мои, бедная горсточка риса .....	262
А ты размениваешься на мелочь .....	263
Живу, увы, в страдательном залоге .....	264
Загуляй ты, выпей полдиковинки .....	265
Да, расчудесно, распрекрасно, распрелестно .....	266
Помню изгородь, помню жимолость .....	267
Бой быков .....	268
Была вечеринка в аду. И с бутылочкой рома .....	269
Акакий Акакиевич .....	270

### ЭЛЕГОИДИЛЛИИ

Ветер воспоминаний тревожит увядшие письма .....	271
Не кажется ли тебе .....	272
Черная птица на черном и снежном суку .....	273
«Мимоза вянет от мороза» .....	274
Душехранилище хоронят .....	275
В ожидании окончания .....	276
Лилась виолончель, как милость или чудо .....	277
Ни в коем случае, ни в коем случае .....	278
Документально и фактически .....	279
Зачем, скажи, ты терпишь холод грубый .....	280
«Поэты — бессмертны...» Светлело, неярко .....	281
Мы говорили о свободе воли .....	282
Только ветер пролетит, пойдет широко .....	283

### ПОЛУОСАННА

Светлые белые горы .....	284
Я помню телеги в полях предвечерних .....	285
Туманный жемчуг, осенний день .....	286
Особенно когда осенне-одиоко .....	287
Был океан лазурно-фиолетов .....	288

И мириады звезд, и мириады лет .....	289
Уже огороды не стоит стеречь .....	290
А белая птица так низко летела .....	291
Гиацинтом, левкоем .....	292
Знаешь, я сохраняю .....	293
Играет ветер листьями газеты .....	294
В такую ночь весна не окончательна .....	295
Из белой весенней ночи .....	296
Прощайте, Кошей Кошеич .....	297
Арабским удивительным дворцом .....	298
Давай походим по дивным музеям .....	299
Как большая темная миндалина .....	300
Удивительно, как удлинен .....	301
В огромном, царственном, торжественном саду .....	302
Тем более, что так недолговечно-розово .....	303
Взлетали фонтаны — светлые всадники. Голубь .....	304
Тополь полон волненья, и липа звучит, как лира .....	305
Нежный неясный дождь, как легкое забытье .....	306

## Пасторали

Говорила Муза .....	309
Был южный сад. И птицы — самоцветы .....	310
Может быть, навек запечатлется .....	311
Голубоваты, чуть сиреневаты .....	312
Каждый листик надеется стать соловьем .....	313
Сердце сожмется — испуганный ежик .....	314
На окраине города, ночью, в Европе .....	315
О да, по той простой причине .....	316
Уже летают предсмертные птицы .....	317
Я тебя «рисовал на песке» .....	318
Кто душа твоя? Изольда? Дульцинея? .....	319
Эгейский ветер, шорох слабый .....	320
Пушок на щеке — почти абрикосик .....	321
Оранжево-розовые фламинго .....	322
Все глупостями занимаемся .....	323
В яркой и знойной Флориде .....	324
Disney World .....	325
Индуски, китайки и японки .....	326

Мы гуляли по Бродвею. Сколько огней! . . . . .	327
И мы прошли парижской толчеей . . . . .	328
Как надоели римские гробницы! . . . . .	329
Что может быть в жизни плачевней . . . . .	330
В мечети султана Ахмета . . . . .	331
Как хорошо, что люди мы . . . . .	332
Сколько песка в мексиканском пейзаже! . . . . .	333
Ну что же — не хочешь, не надо . . . . .	334
Между арок, пиний и кошек . . . . .	335
Приезжай в Афины рано . . . . .	336
Огромно-серым одуванчиком . . . . .	337
В платье розовом метиска . . . . .	338
Как много синьки в небо вылилось! . . . . .	339
Почему-то вдруг приснится . . . . .	340
И по Дворцу венецианских дождей . . . . .	341
Там, где белела бурная пена . . . . .	342
Снова дни, голубые дельфины . . . . .	343
Я задумался, вспоминая . . . . .	344
Восхитись узорчатой Альгамброй! . . . . .	345
Земными полурайскими садами . . . . .	346
Пускай на душе предрассветно, смутно . . . . .	347
Кто повидал сокровища земные . . . . .	348
О Судьба, немая криптограмма . . . . .	349
Ночная бабочка, мохнатая, как филин . . . . .	350
Слетевшего с небес мерцающего гения . . . . .	351
Хрустальное сердце, прозрачней, чем лед . . . . .	352
Был замок чудесный в чудесном балете . . . . .	353
Захотелось порезвиться . . . . .	354
Попрыгай, душа-попрыгунья . . . . .	355
Небожитель, селенит . . . . .	356
Сердце почти размагничено . . . . .	357
Оранжевато-розовато-серый край . . . . .	358
Ты был жив недавно. Тяжело болел . . . . .	359
Не душа, а легкий пар . . . . .	360
Милый друг, спасибо за молчание . . . . .	361
Если бы мне глоток того эликсира . . . . .	362
К вечеру стало нежнее, весеннее . . . . .	363
Улыбнись, царевна Несмеяна . . . . .	364
А умрем — заживем на поверхности солнца . . . . .	365

Я говорил о радостном и грустном . . . . .	366
Гулкий простор португальского храма . . . . .	367
Что искусство? — порой говоришь . . . . .	368

## Антитеза

Душа, от шашней разной шушеры и нечисти . . . . .	371
Вы не спорили, русские мальчики . . . . .	372
В Россию — ветром — строчки занесет . . . . .	373
Человечество? Нет, не хочется . . . . .	374
Говорила Судьба по-жабьему . . . . .	375
Направо кумиры, налево табу . . . . .	376
Как рыбка ненасытная пиранья . . . . .	377
И сухая ноябрьская ночь . . . . .	378
Отрубленную голову Пегаса . . . . .	379
Из шелухи, из чепухи . . . . .	380
Живу, изящными уютами . . . . .	381
Сад султанов, летний вечер сонный . . . . .	382
Как до Колумба, в хижинах ютятся . . . . .	383
Шел, укрывался — неделями . . . . .	384
Колочая проволока сплетена . . . . .	385
Сумма углов, не помню чего . . . . .	386
Соседи суетливые твои . . . . .	387
Остаток лунной пилюли . . . . .	388
Гомункулус по имени Попутчикус . . . . .	389
В парке, возле идола безликого . . . . .	390
Идеи? Идеалы? — Идолы! . . . . .	391
Ржавые рельсы и ржавые рыжие сосны . . . . .	392
Как будто демон наркомании . . . . .	393
Да ну вас, да ну вас, да ну вас . . . . .	394
Одна миллионная миллиметра . . . . .	395
Барон Мюнхгаузен в пустыне . . . . .	396
Ветер жизни стихает, слабеет, смолкает . . . . .	397
Если будет война . . . . .	398
Случайно случившийся случай. Смешки! . . . . .	399
Когда-нибудь, потом, потом, впоследствии . . . . .	400
Тебе достанется не более, а менее . . . . .	401
Милой музыкой старинной . . . . .	402
Мерзлой густой пеленой . . . . .	403

Многие мечтают: побываю .....	404
Легкомысленно, прелестно .....	405
Все хочу я подумать о смерти .....	406
О продолжительности жизни .....	407
Парижская старая пена .....	408
Занимательная грамматика .....	409
Эта льдинка в хрустальном стакане .....	410
В безвыходной тюрьме Необходимости .....	411
Помнится, Цезарь сказал: — Finis Poloniae .....	412
В серебряном небе звенели хрустальные птицы .....	413
На последнем вскрытии .....	414
Душа, душа, ты ванька-встанька .....	415
Где-то светлый Бог, где-то вечный свет .....	416
Смерть отсекает нам душу от тела .....	417
В белой тундре слышен шелк .....	418
Как будто серной кислотой .....	419
Не дружеским, а вражеским посланием .....	420
Голые ветки деревьев, как легочные альвеолы .....	421
Мало-помалу, мало-помалу .....	422
Они, пожалуй, полудики .....	423
Даже в полночь — будничны́й мир .....	424
Ветер, сияя, качает .....	425
Работал бедный и устал .....	426
Ну а ночью — пандемониум .....	427
Морской огромной черепахе .....	428
Сегодня я сразу узнал .....	429
Наплывает черный парус .....	430
Плыл лунатик в лунном свете .....	431
Романтики твердили нам о сердце .....	432
Не говоря о том, что из потемок .....	433
В газете — новость: найден таракан .....	434
На прелестном острове Гаити .....	435
То носороги, то утконосы .....	436
Ах, ваша планета — новый Акрополь! .....	437
За тридцать небес твоя хата с краю .....	438
Да, мы эмигранты, «переселенцы» .....	439
Полночный остров Молчанья .....	440
И я свидетель обвинения .....	441
Пестрел и бурлил мексиканский базар .....	442

Аквариум тихий и мрачный .....	443
Я недавно коробку сардинок открыл .....	444

## Автограф

Займите где-нибудь .....	447
Гекатомбы, катакомбы .....	448
Благоразумие — безумие .....	449
Дамоклов меч над прокрустовым ложем .....	450
Мир, созданный Богом, и мир, возникший .....	451
Уйти? Остаться? Сердце мается .....	452
Я думал перевоплотиться .....	453
Пляшет, скачет темный Рок .....	454
Болею манией величия .....	455
Под шум Атлантического океана .....	456
То то, то другое, то то, то другое .....	457
Кого-то кто-то пожирает .....	458
Я говорил глухому перуанцу .....	459
Какие вокруг образины .....	460
Не феями и не камнями .....	461
Нейтронная бомба не тронет меня .....	462
Хотя цвели, так нежно-пышно, вишни .....	463
Серели, желтели развалины .....	464
Мраморный фонтан многоузорный .....	465
У фракийского берега .....	466
По долине пролегает .....	467
Слышно, как Лермонтов песню заводит на Тереке .....	468
«Все будет прекрасно», — сказал Гавриил Азраилу .....	469
Окружена публичными домами .....	470
Памяти Якова Виньковецкого .....	471
Новорожденные младенцы .....	472
Лежит потемневшее сено .....	473
Нет, не капризничай, не привередничай .....	474
Куда-то плыть осенними туманами .....	475
Мы положим на чашу весов .....	476
Плачешь, Психея-Аленушка? .....	477
Palais de Justice .....	478
Конечно, бывало и хуже .....	480
Забавное, милый, лекарство .....	481

Спор сумасшедших с полоумными .....	482
Презревший заботы и почести .....	483
Закусили в земной забегаловке .....	484
Ты сощурила глаза нестрогие .....	485
Платье бархата черного .....	486
Когда бы праотец Адам .....	487
В ночном Нью-Йорке снег. Уснул, затих Нью-Йорк .....	488
Да — «тем не менее, однако, все-таки» .....	489
Двенадцать миллиардов лет .....	490
Не нарушает тишины .....	491
Морщины — трещины. От времени, от бремени .....	492
Кто может сосчитать морской песок? Весной .....	493
Огромная лазурь Айя-Софии .....	494
И великий и грозный собор в твердокаменной Авиле .....	495
Играют пухлые щенки .....	496
Стук-стук-стук, стучатся ветки .....	497
Просите, просите защиты! .....	498
Когда Адам брюхатил Еву .....	499
Все загадки бытия .....	500
Свет, сенокос, ветерок .....	501
Мечеть Омара в Ерусалиме .....	502
Я не вернусь в Египет, в Абу-Симбел .....	503
Здесь есть дольмены. Но друидов нет .....	504
Пестрые домики, узкие улочки .....	505
Карнавальные Офелии .....	506
А росли, брат — не в Свирелии! .....	507
Вместе дошли до седьмого круга .....	508
Святой блаженствует в экстазе .....	509
Ложится свет на листья винограда .....	510
Зеленый скарабей и черный скорпион .....	511
Бежал щенок по краю океана .....	512
Грех легкомыслия разве простится? .....	513
Своенравница, затейница, забавница .....	514
Как белые птицы, летали высокие ноты .....	515
Убитой было девяносто восемь .....	516
В одну телегу (Пушкин!) «впрячь не можно» .....	517
За счастье платил я немалый бакшиш .....	518
Надо ли было сказать в крематории .....	519
Мир наступит не скоро .....	520



Ночью в приморском саду .....	521
Семь густых, высоких струй фонтана .....	522
Читая «Пути-дороги» .....	523
Мимо мумий! Мимо мумий! Мимо мумий! .....	524
Памяти Владимира Вейдле .....	525
Памяти Юрия Терапиано .....	526
Я разломил китайское печенье .....	528
Мы давно отдыхаем .....	530
Я с тобой не поеду .....	531
Ты Микки Мауса не признавал .....	532
Не веря ни в какое перевоплощение .....	533
Существа из далеких галактик .....	534
Был освещен торжественный фасад .....	535

Чиннов И.В.

Ч 63

Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1: Стихотворения / Составление, подготовка текста, вступ. статья, коммент. О.Кузнецовой. — М.: Согласие, 2000. — 576 с.

ISBN 5-86884-102-6 (Т.1)

ISBN 5-86884-101-8

В 1930-е годы в парижском журнале «Числа» были впервые опубликованы стихи Игоря Чиннова. И тогда, по словам Ириңы Одоевцевой, двадцатилетний Чиннов начал «свое блестящее восхождение к славе», чтобы спустя четверть века унаследовать принадлежавшее Георгию Иванову «кресло первого поэта эмиграции». Последние свои стихи Игорь Чиннов написал в 1990-е годы в России, которую он увидел впервые после революции...

За шестьдесят лет в Европе и в США у Игоря Чиннова вышло восемь книг стихов: «Монолог», «Линии», «Метафоры», «Партитура», «Композиция», «Пасторали», «Антитеза», «Автограф». Все они включены в этот том.

УДК 882

ББК 84(Рос-Рус)6

**Игорь Владимирович Чиннов**  
Собрание сочинений в двух томах  
Том первый

Компьютерная верстка Н.М.Козлов

Корректор Г.В.Заславская

Подписано в печать 01.08.2000 г. Формат 84x108/32.  
Бумага офсетная. Гарнитура PetersburgC. Печать офсетная.  
Усл.печ.л. 18. Уч.-изд.л. 16,03. Заказ № 5172.

ЗАО «Согласие».

113054 Москва, ул. Бахрушина, 28, стр. 1.

ЛР № 040552 от 31 июля 1998 г.

e-mail: [soglasie@mail.ru](mailto:soglasie@mail.ru)

<http://www.user.cityline.ru/~amid/soglasie.html>

ОАО «Типография Новости».  
107005 Москва, ул. Ф.Энгельса, 46.

ISBN 5-86884-102-6



9 785868 841026



Первые стихи Игоря Чиннова были напечатаны в престижном журнале русского зарубежья — парижских «Числах» в 1930-е годы. Именно тогда, по словам Ирины Одоевцевой, двадцатилетний Чиннов начал «свое блестящее восхождение к славе», чтобы спустя четверть века унаследовать принадлежавшее Георгию Иванову «кресло первого поэта эмиграции». Последние свои стихи Игорь Чиннов написал в 1990-е годы в России, которую он увидел впервые после революции. Шестьдесят лет творческой жизни. Восемь вышедших в Европе и Америке поэтических сборников. Более семидесяти положительных рецензий и статей. Всю свою жизнь Чиннов провел в эмиграции — были Париж, Мюнхен, США, — но и в ранних стихах, писавшихся в духе «парижской ноты», и в поздних — гротесках — Чиннов верен традициям русской культуры, которые он свято чтит. О чем его стихи? О России, о Париже, об Америке? Да. Но главное, о чем пишет поэт, — это полная страданий и радостей, горя и счастья, полная «сияющих пустяков» наша скоротечная жизнь. «Монологом приговоренного к смерти» назвал Владимир Вейдле первую книгу Игоря Чиннова. И монолог этот закончился только со смертью поэта 21 мая 1996 года во Флориде.